



### Часть третья

1.

К вечеру, вернувшись с работы, девушки обнаружили в женском лагере новую обитательницу. Утром приезжала Россхауптиха. Лейтхольд отпер ей калитку пустого лагеря, и она быстро прошла к бараку, где одинокая Иолан сидела над своими бумагами.

— Секретарша!

Маленькая венгерка замерла от страха. Она приоткрыла рот, но не в силах была вымолвить ни слова.

— Где же ты? — нетерпеливо крикнула надзирательша. — За уши тебя тянуть, что ли?

Тяжело топая, она прошла по проходу и отдернула занавеску. Иолан пыталась встать, ноги у нее подкашивались. Как загипнотизированный кролик, она уставилась в колючие глаза под желтыми ресницами. Россхаупт глядела на нее несколько секунд, и выражение лица надзирательницы чуть заметно смягчилось, углы щучьего рта приподнялись в улыбке.

— Чего ты боишься? — сказала она почти мягко. — Гляди, что я тебе принесла.

Она вытянула левую руку, которую до того держала за спиной. Ее пальцы крепко держали за шиворот котенка. Зверек слабо мяукал.

Иолан поразились, ее веки дрогнули.

— Киска! — воскликнула она.

— Это тебе, — сказала надзирательница.

Девушка нерешительно протянула руку к мохнатому комочку, беспомощно висящему в воздухе.

— Киска, какая миленькая!

Котенок в самом деле был прелестный — серый с черным, с розовой мордочкой и белыми иголочками зубов. [312]

— Не плачь, малышка, — шептала Иолан, принимая его обеими руками. — Кис-кис!..

Россхаупт отерла руку о юбку.

— Мерзкая кошка в «Гиглинге 5» опять принесла котят. Их взяли топить, а я

вспомнила о тебе. — Она говорила грубовато, словно стыдясь своего порыва.

— Большое спасибо! В самом деле мне можно оставить его у себя? — Иолан подняла изумленные глаза и прижала котенка к груди.

— Если будешь вести себя хорошо, можно. Одна из девушек, что работают в кухне эсэс, будет носить для него молоко... и прочее. Я это устрою. Но смотри, не вздумай жрать молоко сама!

Маленькая венгерка недоумевающе взглянула на рыжую эсэсовку.

— Что вы сказали, простите?

— Ничего! — Россхаупт махнула рукой и усмехнулась. — Ты такая дурная, что если тебе из кухни пришлют шницель, ты и его отдашь котенку.

\* \* \*

Под вечер женская рабочая команда уже вернулась в лагерь, и Иолан очутилась в центре внимания тридцати шести товарок. Как ни устали девушки на стройке, все они с возгласами радости и восхищения столпились вокруг Иолан и котенка. Впрочем, на минуту его затмил подарок, которым похвасталась «татарка» Като.

— Глядите, — воскликнула она, — что мне дал буфетчик у Молля. Чуры, муры, гоп-ля-ля! — Жестом фокусника она распустила пояс, подпрыгнула, и из ее юбки выпал зеленый галалитовый гребешок.

— Ого! — бросилась к нему одна из девушек. — Девчата, настоящая гребенка!

— Покажите! — Илона жестом знатока провела пальцем по зубцам. — В нашем магазине такая стоила два сорок. Немного островаты.

Като пожала плечами.

— Для нас это еще долго не будет иметь значения. Знал бы буфетчик, что у меня под платком голая голова, наверняка не дал бы мне гребенки. Да и вообще не взглянул бы в мою сторону.

— Д-да... — вздохнула девушка, которую звали Маргит, вдруг вспомнив, что и она острижена наголо. Она [313] с досадой провела ладонью по голове и сказала :- Собственно, этот гребешок пригодится разве для кошки [{19}](#).

— Для кошки? Неплохая мысль, — засмеялась Иолан. — Дай-ка мне его, Като, посмотрю, что скажет наша киска.

Като подала гребешок, и Иолан осторожно провела им по спине котенка.

— Слышите, как мурлычет эта франтиха? — спросила она тоном счастливой мамы.

— Ты тоже мурлычешь, — прищурилась на нее Като. — И что только с тобой, девушка, случилось? Когда мы утром уходили из лагеря, я думала, что тебя и в живых не застану, так ты боялась Кобыльей Головы. А сейчас тебя словно подменили. Она тебя не била?

Иолан покраснела и покачала головой.

— Сегодня даже пальцем не тронула. И раздеваться не заставляла. Может быть, она не такая плохая, как мы думали...

Като стала серьезнее и поддакнула для вида:

— Может быть. Кстати говоря, буфетчик, что подарил мне гребенку, тоже немец.

— А что он хотел за эту гребенку, скажи, Като, — приставали подруги. — Поцелуй?

— Даже и не знаю, — медленно ответила та. — Я ему улыбнулась, как обычно, а он ухватил меня за талию и заглянул в глаза. Тут, видно, он сразу понял, что я вот-вот пырну его кухонным ножом, который был у меня в руках. Ну, он и отцепился.

— А ты бы его и в самом деле пырнула? — изумилась Иолан.

— Факт! — сказала Като.

С минуту все молчали, потом Илона прошептала:

— Вот и надо было принести не расческу, а *нож*.

— Я так и хотела, — призналась скуластая девушка. — Но этот чертов буфетчик сразу убрал его под замок, где деньги.

Для девушек, работавших на стройке Молля, ужин подали в бараки: Беа и Эржика притащили две большие бадейки с похлебкой. В мужском лагере было иначе: всем пришлось, как обычно, выстроиться в хвост, хотя после [314] шестнадцати часов на ногах — утренняя переключка, переход, тяжелая работа — люди просто падали от усталости. От ворот капо погнали заключенных прямо к кухне, и все же Юлишка обнаружила, что пришло много меньше людей, чем ожидалось. Один из поляков умер на стройке, человек тридцать тяжелобольных не смогли сами вернуться в лагерь. Товарищи донесли их на спинах или на носилках, наскоро сбитых из досок, и положили на апельплаце, рядом с теми, кто умер.

Утром, когда нужно было вовремя доставить заключенных на работу, поезд за ними пришел точно, минута в минуту. Но никто не беспокоился о том, чтобы вечером они так же быстро попали домой. Долго ждали вагонов, еще дольше паровоза. Переход от железнодорожной насыпи до лагеря, утром занявший двадцать минут, сейчас длился целый час. То один, то другой узник падал и отставал. Усталые, озлобившиеся конвойные били чаще и беспощаднее, чем днем. Кто-то из них даже стал стрелять под ноги отстающим.

'Заключенные крепче несли больных, шатаясь под их тяжестью, другие тоже шли с трудом. Едва закрылись ворота, часть людей сразу же разбежалась по баракам, махнув рукой на горячую пищу. Но у большинства голод был сильнее усталости, и они послушно стали в очередь за ужином. Хлеб они в последний раз получили и съели еще вчера вечером, а в утренней суматохе не было даже времени выдать им обычный кофе-бурду. Только в полдень они получили у Молля немного жидкого горохового супа, который наливали в ржавые консервные банки, собранные буфетчиком для сдачи в утиль. И в самом деле, где ему было взять другую посуду для одиннадцати тысяч новых рабочих? Консервных банок нашлось штук девятьсот, и они имели то преимущество, что были невелики и из них можно было пить, как из кружек. Никому не понадобились ложки. И каждый, быстро опорожнив банку, передавал ее товарищу. Когда кто-нибудь жаловался, что этот гороховый брандахлыст даже не горяч, буфетчик пожимал плечами: «А будь он горячий, вы бы не удержали банки в руках!»

Кружка *mollsuppe* <моллевский суп (нем.)> пока что была единственной едой за день. Теперь, вечером, людям полагался еще обычный [316] *lágrsuppe* <лагерная

похлебка (нем.)> {20} и позднее, в бараке, четверка хлеба с маргарином. Многие лезли за супом без очереди — капо, блоковые, штубаки: как же, мол, они смогут следить за порядком и быстро нарезать порции хлеба и маргарина для своих команд, если им самим придется стоять в хвосте? Таким образом, проминенты получили похлебку в первую очередь. Но ведь проминент не станет есть «в стоячку», около кухни. Он возьмет миску с собой, удобно расположится в своем бараке, подогреет похлебку на камельке, заправит ее жиром и посолит, засушит гренки, мелко крошит их в суп...

Так вышло, что большая часть посуды исчезла в бараках, а у дымящегося котла толпилась длинная очередь «мусульман» и ругала девушек, которым не во что было разливать суп. Лейтхольд ничего не предпринимал и только с немым восхищением смотрел на энергичную Юлишку, которая с палкой в руке ходила по рядам, все замечала и покрикивала на людей. Тех, кто проявлял чрезмерное нетерпение и лез к пустым мискам, она била по рукам, а тех, кто, по ее мнению, ел слишком медленно и не освобождал посуду, била еще сильнее. Около кухни стоял шум, крик, суетня, «служба порядка» отсутствовала. Было уже десять часов вечера, а очередь, казалось, даже не уменьшилась. Может быть, дело в том, что в нее затесались лишние претенденты? Юлишка уверяла, что некоторые ловкачи, получив похлебку, становились в очередь по второму разу. Это было не исключено, но вместе с тем несомненно, что у большинства «мусульман» до сих пор не было во рту маковой росинки. А тут еще погасили свет и раздался звон рельса: «Воздушная тревога!»

— По баракам! — заорали капо. Им-то хорошо, они наелись, утерли жирные губы и не прочь были поспать.

— Марш по домам!

Лейтхольд тоже зашевелился, вспомнив, что ведь он начальник, и закричал в темноту:

— Прекратить выдачу еды! Немедленно!

Впереди началась возня и суматоха. Узники, после часового ожидания наконец добравшиеся до котла, протягивали миски, громко кричали, упрашивая выдать им порции. Кухарки хотели было сжалиться, но на них напирала вся очередь; люди, лишившиеся ужина, [316] проталкивались вперед. «Ради бога, тише, ошпаритесь!» — кричали Беа и Эржика, размахивая поварешками и отступая от котлов. Юлишка уже ничего не видела и яростно молотила палкой во все стороны. Один котел действительно перевернулся, какой-то заключенный взвизгнул нечеловеческим голосом, этот визг перекрыл даже общий рев. Юлишка еще раз попыталась навести порядок, но кто-то смаху влепил ей оплеуху. Она отскочила, выбралась из толпы и устремилась туда, откуда слышался голос Лейтхольда: «Перестаньте же выдавать еду, говорю вам!»

Наткнувшись на кюхеншефа, Юлишка чуть не бросилась к нему на шею.

— Это я, герр кюхеншеф... — всхлипывала она. — Меня хотели убить... спасите!

Лейтхольд сам не понимал, как это произошло, но вот он уже прижал Юлишку к себе и вместе с ней отступил к кухонным дверям. Сейчас шеф кухни уже не был перепуганным инвалидом, сейчас он был защитником женщины! Неожиданный прилив сил захватил его и понес.

— Не бойтесь, девочка, никто вас не обидит...

Он сказал «девочка», «Mädel». Стеснительный Лейтхольд назвал всхлипывающий у него на плече «номер» «девочкой»! И даже «mein kleines Mädel», своей маленькой девочкой. Он сам себя не узнавал, таким он вдруг стал удальцом. Здесь, в темноте, среди этих хищников в клетке, сердце Лейтхольда преисполнилось самых нежных, рыцарских чувств. Уже знакомое ему девичье тело было сейчас у него в руках, он чувствовал ладонями крутую спину Юлишки, глубокую ложбинку посередине...

Лейтхольд прижимал к себе юную венгерку, утешал ее и, хотя сам совсем потерял голову, уговаривал Юлишку: «Опомнитесь же, девочка!»

\* \* \*

Зденек еще во время воздушной тревоги вышел из конторы, неся под полой миску похлебки для Феликса. Весь день Феликс не выходил у него из головы, босой, беспомощный Феликс, лежащий на мерзлой грязи апельплаца. Если сейчас в лазарете доктор Шими-бачи скажет, что Феликс умер, у Зденека, наверное, подкосятся ноги и он не сможет сделать ни шагу. Он смертельно устал, все пережитое сегодня на стройке и по пути давило его душу, как камень. [317]

Зденеку хотелось во что бы то ни стало помогать людям, Феликсу, кому угодно! Вместе с теми заключенными, которые еще не совсем обессилели, он носил сегодня больных. Некоторые проминенты, видя на рукаве Зденека повязку, сердито отгоняли его: «Это не твое дело, мусульмане сами себе помогут». Но Зденек упорно возвращался: чувство растерянности заставляло его усиленно расходовать свои силы, чтобы не думать ни о чем. Он с упоением вспоминал о тех недолгих минутах, когда он с палкой в руке стоял плечом к плечу с Диего, ждал налета «зеленых». Вот тогда было легко на душе. А сейчас... «Сейчас уже не за что бороться», — твердил он себе по пути в лагерь. Здесь не Испания. Здесь можно только спасать и как-то поддерживать остальных, играть жалкую роль самаритянина.

Кругом Зденек слышал мужской плач, противный плач, который терзал его слух и не вызывал в нем сочувствия. Но Зденек снова и снова приказывал себе склоняться над несчастными и вникать в чужие страдания, Ему хотелось помогать другим, не щадя сил. Иногда, стараясь отделаться от мучительных мыслей, он вспоминал, каким он когда-то был брезгливым чистюлей, шарахавшимся от всякого дурного запаха. Умора, да и только! Не смешно ли в самом деле, что отвращение к чужой грязи помешало ему стать актером, о чем он в свое время так мечтал! Зденек взялся за это дело в те блаженные дни свободы, когда все было доступно, принял участие в подготовке спектакля, но на генеральной репетиции не смог связать двух слов, захлебнувшись отвращением к пропитанному чужим потом парикю и привязной бороде, к заношенному театральному костюму, который липнул к телу. Ну, не смешно ли, смейся же, Зденек! Ты обожал театр и еще больше кино, но так брезгал чужой одеждой, что предпочел одевать в нее других, а самому оставаться «господином режиссером» в безупречном собственном костюме.

А теперь припомни-ка, как в Освенциме тебя взяли в работу, как «перевоспитали»! Твой пражский костюмчик тебе было ведено снять, сложить на полу и отойти от него... Шагом марш в новую жизнь! Голову тебе остригли наголо, живот мазнули зеленым мылом, пропустили через горячую баню и выгнали на холод. Потом тебе

швырнули какую-то одежду, заскорузлую от высохшей крови. Было [318] ясно, что эти штаны сняты с мертвеца. И все же ты торопливо расправлял и натягивал их — ведь было так холодно! На рукавах куртки ты видел бурые пятна — не от театральной, а от настоящей крови! — и, смотри-ка, не умер от всего этого! Ни от холода, ни от омерзения. Ты содрогнулся... и тотчас же засмеялся шутке соседа, заметившего, что ты стал вполне элегантным пугалом. Ей-богу, засмеялся!

Жизнь в духе «Живо, марш!» продолжалась и заставляла людей переучиваться. Была, например, новая грамота — буквы, написанные чернильным карандашом на бедре мертвеца. Зденеку иногда становилось жутко: как быстро он ко всему привыкает, все вокруг становилось ему безразличным; наконец, сделав усилие, он приостановил в себе этот процесс. Это случилось в тот день, когда он сказал венгру-дантисту — и себе самому, — что есть граница безразличию.

Этому помог разговор с Диего. Иной раз щенка воспитывают так: тычут его носом в собственные нечистоты. Чем-то подобным был этот разговор для Зденека. В нем уже не было ложной брезгливости к чужой грязи, но им владело отвращение к своей старой внутренней нечистоте. Вот хотя бы эта противная история с Испанией... По ночам Зденека мучил стыд: почему он не пошел в свое время сражаться против фашизма, почему без борьбы позволил отнять у себя будущее, мать, Ганку... Черт возьми, неужели ничем нельзя было помочь?

«Ты не был на фронте, ну, ничего не поделаешь», — снисходительно сказал Диего и отвел взгляд. Но Зденеку этот взгляд сегодня мерещился с утра до вечера. Он так старался, помогая слабым, быть может, лишь затем, чтобы в другой раз Диего не отвернулся от него со снисходительной и ничего не требующей улыбкой. Зденек считал, что испанец намного лучше его, и он, Зденек, претендует на многое, добиваясь того, чтобы глаза Диего взглянули на него дружески и с одобрением.

В конечном счете именно по этой причине он, преодолевая ужасающую усталость, шел сейчас в темноте к лазарету, неся под полой миску похлебки.

\* \* \*

Феликс все еще был жив. Ничего более утешительного о его состоянии оказать было нельзя. Кстати говоря, [319] в лазарете царил еще больший беспорядок, чем повсюду в лагере. Зденеку даже не удалось найти Шими-баши и подробнее расспросить его о Феликсе. В обоих лазаретных бараках стонали и бранились больные, в большинстве те, кого сегодня гоняли на работу к Моллю. К ним прибавилась масса новых, от которых было невозможно избавиться. Еще утром стало ясно, что лазарет никого не спасает от отправки на внешние работы, и все же многие просились в лазарет. Врачи тоже отработали на стройке у Молля. Имре, вернувшись, свалился на койку и наотрез отказался встать и заняться больными. Антонеску и маленький Рач послушались Оскара и пошли делать то, что Шими-бачи делал каждый день, — бумажными мешками из-под цемента они перевязывали открытые раны, выслушивали хриплое дыхание похожих на скелеты людей, покачивали головой, слыша слезливые жалобы на боль при мочеиспускании и стуле. Начавшаяся воздушная тревога заставила врачей растолкать обступивших их больных и ненадолго укрыться в лазарете. Здесь их ждала холодная похлебка, которую санитар Пепи час назад принес из кухни. На похлебке уже застыла противная корка. Антонеску жадно накинулся на еду, маленький Рач сел с ним рядом и положил голову на стол, ему даже есть не хотелось. Оскар курил и смотрел

в окно на черное небо.

— Это невыносимо! — прошептал он. -Пять таких дней, как сегодня, и уже некому будет носить больных и ухаживать за ними. Все пойдет прахом, комендатура не сможет выгнать нас на работу, даже если эсэсовцы откроют стрельбу... Хотел бы я знать, кто похоронит такое множество мертвецов?

— Э-э, — сказал Антонеску между двумя глотками похлебки. — Ты слишком мрачно смотришь на вещи.

— Мрачно? — отозвался в темноте большой Рач. — Еще слишком оптимистически, ребята! Для себя лично я не рассчитываю и на пять дней. Я конченный человек.

— А ну тебя, Имре, ты это не всерьез! — поднял голову его маленький тезка. Он был хороший психолог, и в голосе дантиста ему послышались новые грустные нотки. Очень они ему не понравились!

— Маленький Рач меня утешает, это плохой признак, — хрипло усмехнулся Имре. Он тоже был по-своему проникателен. — Маленький Рач хочет по своей [320] профессиональной привычке подбодрить меня. Не надо, приятель! Это хуже, чем последнее помазание.

Оскар у окна махнул рукой.

— Кто нас всех переживет, так это ты. Ты-то себя жалеешь, тебя ничем не проймешь. Эгоист, который валяется на койке, пока его товарищи работают, не умрет. Куда там!

Маленький Рач тронул Оскара за локоть.

— Оставь его. Нельзя же упрекать его, не спросивши. почему он...

Под длинным телом военного дантиста зашуршала стружка, он быстро повернулся лицом к окну, на фоне которого виднелся силуэт Оскара.

— Эгоист? Да, я эгоист! Эгоизм — моя религия, так и знай. Больше ни во что я не верю.

— Не волнуйся, — успокоил его маленький Рач. — Константин, поди-ка взгляни, у него жар.

Но дантист не дал отвлечь себя.

— Моя песенка спета, и я вам сейчас изложу свое кредо. Мне, для того чтобы жить, нужно какое-то преимущество перед другими, хотя бы пустячное. С таким утешением можно выжить всюду, хоть в аду. И я понял это...

— Нет ли здесь Шими-бачи? — раздался в дверях голос Зденека.

— Не мешай! — слабым голосом оборвал его Имре. — Заходи, писарь, ты очень кстати. Ты как раз живое доказательство того, о чем я говорю. О чем бишь я?.. Да, так вот мое кредо. Я понял: помести человека хоть в рай, он все равно будет ворчать на всякие неудобства, пока не увидит, что кому-то рядом с ним живется хуже. Понимаете? Жить хорошо или жить плохо — это само по себе ничего не решает. Все воспринимается в сравнении... Это уже давно известно. Я знал некоего доктора Гондоса из Бекечабы, знаете ведь, какой это захолустный городишко? И вот захотелось ему поехать в Бразилию. Что-то он о ней читал,

видел картинки, в общем, вбил себе в голову, что должен побывать там. И побывал. Потом он мне рассказывал. Понимаешь, говорит, Имре, все это очень интересно, когда смотришь глазами жителя Бекечабы. Ну, а я туда попал и очутился, так сказать, по уши в Бразилии... Знаешь ты, что там пятьдесят миллионов жителей? Представляешь себе: пятьдесят миллионов [321] человек, и все живут в Бразилии так же, как и я, Гондос из Бекечабы. Едва я осознал это, все удовольствие кончилось. Какой смысл познавать жизнь, которой уже живут пятьдесят миллионов человек? Через год я собрал свои вещички и помчался домой.

Рассказчик засмеялся. Оскар хотел что-то сказать, но маленький Рач снова сжал его локоть.

— Да, господа, таковы мы, люди, — продолжал Имре. — Каждому хочется чем-то выделяться среди других. В Бекечабе теперь есть только один человек, побывавший в Бразилии, и этот человек — доетор Гондос. А это чего-нибудь да стоит. Это уже недурная пища для честолюбия...

С минуту было тихо. Зденек хотел было уйти. Имре заметил это.

— Садись, писарь. Речь как раз пойдет о тебе. Вот, господа, вы видите перед собой... собственно, сейчас темно, и вы ничего не видите, но если бы не было затемнения, вы бы увидели человека, который еще неделю назад был зауряднейшим мусульманином. Его возвели в проминенты, прибавили жратвы, дали нарукавную повязку. Да, да, самое главное -это повязка. И что же произошло? Он стал совсем другим. Я не хочу сказать о нем ничего плохого, но неужели вы не заметили, что он уже не тот? Он иначе выглядит, иначе держится. А как он сегодня носил больных!.. — Имре запнулся, вспомнив, что сам-то он никого не носил и даже сейчас, вернувшись в лагерь, уклонился от обязанностей врача. — Но в общем не это важно, — быстро продолжал он. — Важно вот что: человек всегда хочет, чтобы ему жилось хоть немного лучше, чем остальным: тогда он все может выдержать. Вот видите, я уже конченный человек. И не только потому, что сегодня меня избил Дейбель, а на стройке меня низвели в простые мусульмане. Нет, меня уже давно гнетет мысль, что я ничто, кусок дерьма, просто грязное животное... Они слишком долго вбивали мне это в голову...

Стружка опять зашуршала: Имре опустил голову и заплакал, тихо и упорно, как дитя.

— Эгоист, — проворчал Оскар. — Забрало его!

— Кое в чем он прав, — прошептал Антонеску. — Человек должен во что-то верить... ему нужны идеалы. У Имре этот идеал в том, чтобы жить лучше других. Кое в чем он прав. [322]

— Ни в чем, ни на йоту! — вдруг вмешался маленький Рач почти враждебным тоном. — Слушай-ка, Имре, ты неправ. Ты все понятия перевернул вверх ногами. Уж если человеку хочется в чем-то превосходить других, так почему бы не в смелости, разуме, знаниях? Такой человек может помогать другим. Вот ты — врач, золотые руки, не забывай об этом. Ты можешь помогать людям, а кто помогает, тот богаче других. Шими-бачи слабее тебя, он старик, провинциальный врач. По возрасту он годится тебе в отцы. А вот видишь, он все еще не вернулся сюда, не лег отдыхать, он все еще что-то дает другим, он самый богатый из всех нас...

Дверь снова распахнулась, и все почтительно замолкли, думая, что это может быть

только Шими-бачи. Но вошел Гонза Шульц и робко сказал в темноте:

— Простите, нет ли тут чеха-писаря? Он, говорят, пошел в лазарет.

— Ну, в чем дело? — грубовато отозвался Зденек. Он живо заинтересовался разговором в лазарете и уже забыл, что ему надо спешить. Но тотчас же смутился и подошел к двери.

— Мне нужно поговорить с тобой, — сказал Гонза. Он взял Зденека за рукав, и они пошли по темному проходу между бараками. — Ты меня знаешь, я Шульц. Мы с тобой вместе были в Терезине, а потом ехали в одном вагоне...

— Ну и что?

— Ото, каким тоном ты разговариваешь, видно, и впрямь стал господином писарем!

Зденек почувствовал, что кровь бросилась ему в лицо.

— Ничего подобного, честное слово, нет. Ты меня извини, там в лазарете интересный разговор, мне хотелось бы поскорей вернуться.

— То, что я тебе сообщу, тоже будет для тебя интересно, — строго сказал Гонза. — Ты раньше носил фамилию Роубичек?

— Моя фамилия Роубик, — сухо и категорически отрезал Зденек. Он не хотел строить из себя проминентскую «шишку», но Гонза коснулся чувствительного места: будут люди вечно упрекать его за то, что он переменял фамилию?

— Слушай-ка, приятель, что с тобой? — продолжал Гонза. — Мне же совершенно безразлично, какая у тебя [323] фамилия. Я только хотел знать, не брат ли тебе Иржи Роубичек.

— Брат. А что?

— Так слушай меня и не злись. Сегодня на стройке я случайно узнал, что в «Гиглинге 5» есть Иржи Роубичек, бывший журналист...

У Зденека заколотилось сердце.

— Это он! Скорее скажи, что ты о нем знаешь.

— К сожалению, он болен. И серьезно. Он уже давно не ходит на работу.

— Что с ним?

— Ну, подробностей я не знаю. Товарищи его очень любят. Тот парень, что мне о нем рассказал...

— Ты меня сведешь с этим парнем? Завтра на стройке обязательно...

— Насчет этого я и пришел. Завтра я все устрою. Но есть еще одно дело, — Гонза остановился и откашлялся. — Не знаю, как бы тебе сказать...: Тебе известны взгляды твоего брата?

— Конечно. А что?

— А у тебя такие же взгляды или...

— Совершенно такие же.

Гонза опять кашлянул.

- Сказать-то просто. Твой брат был известный человек, доброволец в Испании, политический деятель. А ты, насколько я знаю...
- Я иногда поступал глупо, быть может, уклонялся от многого. Но взгляды у нас одинаковые. А почему ты спрашиваешь?
- Понимаешь ли, кто тебя знает. Ты ведь «господин писарь», а у меня щекотливое дело. Вдруг ты сразу же побежишь к начальству...
- Глупости! Я такой же заключенный, как ты. К начальству? Не знаю даже, как тебя понимать.
- Ну ладно, хватит. Я для тебя чужой человек, но родному брату ты навредить не захочешь. Так вот, видишь ли, у них в том лагере есть подпольная группа, и она исправно работает. Ее организовал Иржи. А теперь, когда он болеет, его заменяют другие. Они работают на стройке. Я хотел бы, чтобы ты не только справлялся у них о брате, но вообще... держал с ними связь.
- Ладно, — согласился Зденек и глубоко вдохнул холодный воздух. «Уже нельзя оставаться только тем, [324] чем я был до сих пор», — подумал он.
- Я этого ждал, — сказал он Гонзе.
- Надо было не ждать, а... Ну, теперь уж неважно. Кстати, мы наметили тебя не только потому, что у тебя там брат. Ты работаешь в конторе, дружишь с докторами, все это важно. А сегодня я видел, как ты носил больных... Короче говоря, я получил задание...
- От кого?
- Скажем, партийное... связать тебя с теми ребятами из пятого лагеря. Они работают на правом склоне, прямо против бетонного свода. У тебя на руке повязка, ты можешь свободно ходить по стройке. Найди завтра меня и отведи к ним. Если тебя остановит конвойный, скажи, что, мол, так приказал инженер. Понял?
- А дальше что?
- Я исчезну, а ты будешь поддерживать связь.
- А ты куда?
- Это неважно.
- Партия поручила тебе другое дело?
- Не спрашивай. — Гонзе было стыдно за такой ответ, но не сознаваться же этому простофилю в том, что он, Гонза, завтра собирается удрать из лагеря. — Вечером к тебе зайдет кто-нибудь из наших. Паролем будет фраза: «Как поживает твой братишка?» Этот парень станет твоим связным.
- Ладно. А что дальше?
- Заладил «что дальше» да «что дальше»! Дальше видно будет. На стройке все мы были сегодня впервые. Надо оглядеться. Договорись потом со связным насчет того, что можно предпринять.
- Зденек медленно шел вперед.
- Вы думаете, что мы долго будем ходить на эту стройку к Моллю?
- Для этого мы здесь. Иначе с какой бы стати немцы кормили нас?

— А они нас почти и не кормят. Доктора говорили, что лагерь долго не протянет. Еще пять таких дней, как сегодняшний...

В этот момент зажглись все огни, воздушная тревога кончилась. Зденек испуганно оглянулся, словно боясь, что все увидят, с кем он дружит. Тотчас же он мысленно усмехнулся: «Хорош я заговорщик!» — и заставил себя твердо взглянуть в глаза Гонзе; тот протянул ему руку. [325]

— Я пошел. Так смотри, Зденек, никому ни слова, понял? Может быть, тебе теперь будет труднее житься, но ты сам сказал, что хочешь...

— Хочу. И так, завтра на стройке. Пока.

— Честь труду! — сказал Гонза.

— Честь труду! — поправился Зденек.

Они еще не розняли рук, когда послышались частые удары в рельс. «Блоковые на апельплац. Живо!»

На вышках зажглись мощные прожекторы, их лучи сошлись на апельплаце.

— Это что еще? Неужели прибыл транспорт, который ждали вчера? Черт подери, пяти минут не проходит без событий! — воскликнул Зденек и побежал в контору.

— Здесь не санаторий! — усмехнулся вслед ему Гонза.

2.

Да, это был транспорт. Заключение из Освенцима, тысяча триста человек, точно по немецкой разверстке. Стало быть, коммуникации гитлеровцев в порядке, вся длинная трасса из Польши в Баварию еще в их руках. Опоздание на сутки, как оказалось, было вызвано просто тем, что транспорт задержался под Веной. Там убирали развалины, и поезд простоял где-то на запасных путях. Никому, конечно, не пришлось в голову отпереть вагоны и дать людям хотя бы напиток. Заключение везли так же, как и первую партию, в которой был Зденек, — девяносто человек в товарном вагоне, ведерко черного кофе и одна параша на всех, которую опоражнивали в окно. Но была и большая разница: на этот раз люди пробыли в запертом деревянном сарае на колесах не 56, а 76 часов. В первой партии по пути умерло шесть человек, во второй — сорок девять. Почти все остальные были не в силах пройти четыре километра от станции до лагеря.

В жарко натопленной комендатуре опять «сгущались тучи»: Копиц бушевал, — Дейбелю уже несколько раз сильно досталось, а Лейтхольд даже не появлялся. Начальник охраны отказался отправиться со своими людьми на станцию, произошла сцена, очень похожая на открытое неповиновение. Охранники конвоировали заключенных с шести утра до девяти вечера, сейчас едва успели поесть, и вот опять идти в город? Раньше четырех утра они не [326] управятся, а в шесть снова вставать и быть на ногах пятнадцать часов?

Копиц понимал, что они правы, но что ему было делать? Он орал, но это не помогло. Тогда он стал обзванивать соседних рапортфюреров и просить помощи. Но те отказывали, потому что почти всюду у конвойных был такой же тяжелый день, как в «Гиглинге 3». Наконец Копиц с крайней неохотой обратился к Вачке, рапортфюреру лагеря штрафных эсэсовцев. Вачке не может отказать, его лагерь не ходит на внешние работы. Но Вачке опасный тип: попросишь его помощи, чтобы

вытащить застрявшую телегу, а он тотчас захочет узнать, что ты в этой телеге везешь, откуда взял и не дашь ли ему половину...

А Копиц как раз сегодня задумал некую коммерческую комбинацию, в которую никто не должен совать носа. Но делать нечего, пришлось позвонить Вачке, и просьба была удовлетворена, сосед тотчас же отправил конвойную группу («Реванш за голого в снегу», — усмехнулся он) и даже обещал прислать свою тотенкоманду, чтобы трупы не валялись на станции до утра.

Копиц вздохнул с облегчением: самое трудное сделано. Затем он вызвал писаря Эриха — надо было определить порядок приемки новичков.

— У абладекоманды и могильщиков был трудный денек, но выгоним их еще и на эту работу, а завтра дадим им сутки отдыха.

— А работа у Молля?-осмелился возразить писарь.

— Ерунда! — махнул рукой вспотевший Копиц и окинул рубаху. — Там у них на стройке еще больший бедлам, чем у нас. Я это сразу заметил, когда они позвонили мне по телефону. Сказать прямо: ты, мол, пошли нам поменьше людей, им тут нечего делать, они не решаются, боятся нарушить распоряжение свыше. Но меня не проведешь! Их бы очень устроило, чтобы я не выполнил разверстки, — будут потом рапортовать начальству: мы, мол, не справились с заданием, потому что «Гиглинг 3» нам недодал людей. Знаем эти штучки! Я поступил иначе, воспользовался тем, что на стройке решительно отказываются от женщин, и заявил, что собираюсь прислать их завтра вдвое больше, чем сегодня. Иначе, мол, не могу. Ну, они и сократили нашу разверстку. Да еще мы скинем с нее всех умерших у нас и в поезде. Короче говоря, [327] завтра мы пошлем им тысячу шестьсот или тысячу восемьсот человек, и пусть радуются. Оставим дома врачей и еще кое-кого, чтобы лагерь был прибран и не походил бы на сегодняшней свинушник! И вообще будем посамостоятельнее.

Писарь осмелел: раз есть послабление, надо воспользоваться им и для себя.

— Хорошо бы оставить в лагере и младшего писаря Зденека, надо привести в порядок картотеку, оформить новоприбывших, умерших и прочее. Затем в кухне нужны дежурные ордунгдинсты, я уже докладывал вам, что творилось у котлов сегодня вечером. Юлишка, правда, орудовала палкой, но что может сделать женщина? Я предложил бы оставить дома всех зеленых, пусть отдохнут до четверга и поработают в кухне, это пойдет им на пользу, будут лучше выглядеть на призывной комиссии. Прошу также два барака под лазарет. Это просто необходимо, разрешите доложить... Оскар настаивает...

— Хватит! — сказал Копиц, — тебе дай палец, ты сожрешь всю руку... Беги в лагерь и пошли мне сюда Лейтхольда, где он там запропастился? С командой, что пойдет на станцию закапывать мертвых, пошлите дантиста Имре, да пусть не забудет взять свои зубодральные клещи.

Писарь захлопал глазами.

— С Имре дело дрянь. Утром его избил герр обершарфюрер Дейбель, да и на стройке ему, видно, пришлось круто. Сейчас он лежит в лазарете. Пеппи говорит, что он совсем плох...

— И слушать не хочу, сегодня он пойдет, и точка. На вокзале будут конвойные от

Вачке, так что у нас все должно быть в порядке. Завтра поищем другого дантиста, наверное, найдется среди новичков. Марш! Все остальное, о чем ты просил, разрешаю.

Писарь рысью побежал в лагерь. Копиц встал и выглянул в окно. На залитом светом рефлекторов апельплаце Дейбель, помахивая красным кабелем и хлопая им по голенищам, инструктировал новых блоковых из тех барачков, куда сегодня должны были прибыть люди. Скорей бы он покончил с этим и отправлялся на станцию принимать транспорт!

Эрих тем временем прибежал в кухню. Около нее еще бродили «мусульмане», надеясь, что, может быть, теперь, [328] после отбоя тревоги, все-таки раздадут остатки похлебки. Но дверь была на запоре. Писарь замолотил в нее кулаками. Изнутри послышался голос Беа:

— Уходите, сколько раз вам говорить, что раздачи больше не будет!

— Это я, писарь! — крикнул Эрих. — Беа, слышишь?

По бетонному полу, удаляясь, простучали деревянные башмаки.

— Эй, Беа, отвори, я спешу! — заорал писарь так громко, что у него заболело сшитое горло и он раскашлялся.

В кухне что-то делали, но писарь не знал что. Потом опять послышались шаги, и кто-то отодвинул засов. Это был сам Лейтхольд. Он сверкнул на писаря ехидным стеклянным глазом.

— Was gibts, Mensch? <В чем дело, писарь? (нем.)>

Писарь вытянулся в струнку и передал распоряжение Копица. Мол, прибывает новый транспорт и герр рапортфюрер просил вас немедленно...

— У нас еще не закончена уборка, — проворчал Лейтхольд. — Вот запрю девушек и приду. Так ему и передай.

«Если этот недотепа воображает, что заключенный побежит с таким ответом в комендатуру, чтобы его там изругали, он сильно ошибается», — подумал писарь и прохрипел:

— У меня еще несколько срочных поручений, я не сразу попаду в комендатуру. Поэтому было бы лучше, если бы вы... Герр рапортфюрер сказал, что дело очень спешное...

— Нау аб! <Здесь: Заткнись! (нем.)> — с необычайной резкостью гаркнул Лейтхольд.

Эрих поспешил дальше, размышляя, в чем дело. Что-то здесь нечисто. Может быть, у придурковатого кюхеншефа шашни с Беа? Хорсту это было бы интересно, рассказать, что ли, ему об этом?

Вернувшись в контору, Эрих тихонько сказал Бронеку:

— Следи из окна за женской калиткой. Сейчас Лейтхольд проведет через нее несколько девушек. Мне нужно знать, сколько их было. С меня четверка хлеба! [329]

И он побежал в лазарет, чтобы уладить неприятное дело с дантистом. Имре, наверное, будет ругаться, но остальных врачей мы порадуем вестью о том, что

завтра они уже не идут на внешние работы и лазарет получит два новых больничных барака, которых давно добивался Оскар.

\* \* \*

Застегнутый на все пуговицы Лейтхольд вошел в комендатуру, вытянулся, поднял руку, гаркнул «Хей... тлер!» Он чувствовал себя как-то необычно бодро, в его вдоль и поперек изрезанном и сшитом теле словно ожили веселые, подвыпившие чертенята. Никогда он не был таким юным и гибким, ему даже хотелось петь. С высоты своего роста он глядел на плешивого, толстошеюго Копица в теплой тельняшке и рубахе, который, скинув подтяжки, развалился за столом. И это его начальник! Этот неудачливый мелочной торговец хотел поучать его, как обращаться с «номерами». Этот потный лавочник намеревался давать ему житейские советы и треть всего украденного!

Лейтхольд стоял навытяжку и незаметно вытирал о брюки ладони своих вытянутых по швам рук. Стереть бы с них следы рукопожатий этого недостойного нациста.

— Ты был занят, а? — сказал Копиц бодро. — Садись, устраивайся поудобнее.

— Я постою, герр рапортфюрер. Ты вызывал меня?

Копиц поднял взгляд — он заметил необычный тон своего помощника — и продолжал невозмутимо:

— Садись, приятель, разговор будет долгий.

— Пожалуйста, — оказал кюхеншеф, неловко подтянул к себе стул и сел.

— Слушай-ка, Лейтхольд, вот какое дело. Тот транспорт, что находится сейчас на станции, должен был прибыть на сутки раньше. Ты ведь это знаешь?

Лейтхольд едва кивнул.

— Да что с тобой? — Копиц снова взглянул на его стеклянный глаз. — Ты чем-нибудь озабочен?

— Да, — был ответ. — Не понимаю, почему ты запретил мне раздать остатки похлебки после отбоя тревоги.

Копиц наморщил лоб.

— Согласно инструкции, после десяти в лагере должен быть полный покой. Не устраивать же тут... Мало тебе было безобразия до налета? [330]

— Люди были голодны, и...

— Люди? — прервал его рапортфюрер, но, вспомнив, что предстоит разговор на деликатную тему, снизил тон. — Не будем говорить об этом, приятель. Ты новичок в нашем деле, а я старый, опытный дядюшка Копиц. Оставь эту похлебку на завтра, будет экономия. А?

— Похлебка скиснет, — упрямо возразил Лейтхольд.

— Ну и что ж? Разбавишь ее свежей, будет незаметно. Но, черт подери, не для этого я тебя звал, у нас есть совсем другое дело. С чего я начал?.. Ах да, так вот, этот новый транспорт. Он, как видишь, опоздал на сутки. Теперь представь себе, что там, наверху, никто не знает об этой задержке, и нам уже с утра полагается рацион на всех прибывших. Тысяча триста человек — это триста двадцать буханок

хлеба плюс тридцать девять кило маргарина и тысяча триста литров похлебки... Соображаешь? Чистый доход, можно все запросто положить в карман. Я тебе в связи с этим расскажу анекдот. Сынок лавочника спрашивает: «Папаша, объясни мне, что такое честность?» — «А вот что, сынок, — отвечает тот. — Представь себе, что покупатель вместо десятки дал мне по ошибке сотню, повернулся и ушел. Вот тут-то и возникает вопрос о честности: сказать об этом мамаше или не сказать?»

Копиц рассмеялся и уставился на Лейтхольда: понял ли тот и почему не смеется? Но кюхеншеф сидел перед ним, вытянувшись, как палка, и не улыбнулся, хотя бы из вежливости.

— Я тебе объясню, — продолжал рапортфюрер снисходительно. — У этого лавочника очень строгая жена, понял? И вот его сынок спрашивает: «Папа, что такое...»

— Честность! — подхватил Лейтхольд. — Я хорошо слышал.

Копиц поднял брови.

— Что с тобой, приятель? Отличный анекдот, а ты... Покупатель дал сотню вместо десятки, и вот возникает вопрос...

— О честности, — ледяным тоном повторил Лейтхольд.

Копиц отодвинулся от стола и встал.

— Шарфюрер, приказываю тебе сказать, что с тобой такое. Мне совсем не нравится, как ты разговариваешь.

Лейтхольд тоже встал. Он медленно выпрямился и одернул френч. Его стеклянный глаз глядел куда-то [331] вверх Копица, на портрет фюрера, но зрячий с насмешливым упрямством уставился на нос собеседника.

— Мне тоже кое-что не нравится, и я тебе скажу что, герр рапортфюрер. Прокишую похлебку я раздавать не стану. По правде сказать, прежде у меня было довольно туманное представление о концлагерях. Но я видел однажды фотоснимок ворот бухенвальдского лагеря, и на них была крупная надпись: «Jedem das Seine» <«Каждому — свое» (нем.)>. Это справедливый принцип. Пайки заключенных и без того малы, да еще часть их прилипает к другим рукам, это ты сам отлично знаешь. Из того, что остается, мы варим похлебку, и даже ее я не могу раздать целиком? Или, может быть, я должен спокойно смотреть, как моих кухарок поубивают голодные люди, которые не получили того, на что они имеют право?

Копиц ожидал упреков совсем другого рода, а это было просто смехотворно. Он снова опустил на стул и принял прежний тон.

— Да ладно же ты, недотепа! Что ты все ворчишь о какой-то похлебке, черт ее подери! Раздай ее сегодня или завтра утром, мне все равно, честное слово. Садись-ка и поговорим о выгодном деле. У нас в руках суточный рацион на тысячу триста человек, по ошибке отпущенный нам днем раньше. Дейбелю я еще ничего не сказал, он ужасный рвач, с ним о таких делах говорить нелегко. Потому-то я и вызвал прежде тебя, ты человек рассудительный, и я хочу, чтобы ты помог мне убедить Руди, что мы просто не можем всё хапнуть сами, только для нас троих. Придется поступить, как тот папаша из анекдота, и подумать о разумной доле для маменьки, которой в данном случае является каптенармус Шлейхер из главного

склада. Это он допустил счастливую для нас ошибку, ему и надо заткнуть рот, чтобы никто ее не обнаружил.

Копиц хитро усмехнулся и выжидательно посмотрел на длинного Лейтхольда, который продолжал стоять на вытяжку, с видом богини правосудия, хоть и не слепой, но одноглазой... «Что только творится в этой дурацкой голове?» — подумал рапортфюрер.

А в голове Лейтхольда и в самом деле творились странные вещи. Над телом, в котором резвилась тысяча подвыпивших чертенят, господствовал мозг, полный [332] серьезнейших мыслей, чистых и честных, как был твердо убежден сам Лейтхольд. Он еще чувствовал в своих объятиях прелестное молодое тело Юлишки, вспоминал, как отвел ее в свою каморку и уложил на койку. Помнил и то, как он тотчас осторожно отстранился от девушки, покрыл ее одеялом и хотел было на цыпочках отойти. И тут произошло невероятное: пока, склонившись над ней, он поправлял одеяло, Юлишка вдруг пошевелилась, схватила обеими руками руку своего патрона и прижалась к ней губами. Всего на секунду, и тотчас опять стала недвижима... Ошеломленный Лейтхольд выпрямился, пошатываясь, вышел в кухню и тихо прикрыл за собой дверь.

Больше ничего не произошло. Но, боже мой, это такое событие, такое событие! Хорошенькая арестантка спокойно отдыхала на койке, а он, Лейтхольд... Каждая клеточка его тела пела, в нем пробудились веселые чертенята, давно уже не подававшие признаков жизни. Несмотря на это, он оставался у котлов в темной кухне и, дожидаясь отбоя тревоги, тихо разговаривал с другими кухарками.

О чем же он говорил с девушками? Ну, расспрашивал их, чем они занимались, откуда родом, сколько кому лет. В темноте их голоса звучали сначала робко, потом посмелей. Беа с наивной хитростью завела речь о Юлишке: ей, мол, восемнадцать лет, она из хорошей семьи, ее отец держал маленькую консервную фабрику, он погиб несколько лет назад.

Растроганный Лейтхольд слушал, сердце у него колотилось. Он уверял себя, что гордится своим рыцарским поведением: ведь вот, он ни на йоту не воспользовался положением своей прекрасной узницы, уложил ее, а сам находится здесь и лишь изредка смотрит на руку, к которой прижимались ее влажные губы...

Это и вправду было все. А сейчас он как остолбенелый стоял против портрета Гитлера над столом коменданта и мечтал о том, что когда-нибудь встретит Юлишку на свободе, подойдет к ней неофициально, запросто, как мужчина к женщине, возьмет ее за талию, напомним ей о своем примерном поведении в ту ночь...

А до тех пор, пока это невозможно, он должен быть порядочным человеком. Иного пути нет. Надо избавиться от ловушки, в которую его завлекли эти хищники, Копиц и Дейбель, остаться честным немцем, выполнять свой долг немецкого воина и не ввязываться больше ни во что. [333]

— Я тебе все рассказал, — сказал Копиц почти угрожающе. — Ну, что ты скажешь? Делим на три части или на четыре? Говори!

— Транспорт придет сегодня до полуночи. Сегодня, в понедельник, шестого ноября, — прошептал Лейтхольд, словно суммируя факты. — Тысяча триста человек. Хлеб, маргарин, продукты для супа....

— М-да, немалая сумма, жалко отдавать четверть, — кисло сказал Копиц. — Но осторожность необходима. «Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste» <«Осторожность — мать фарфоровой посуды»> {21}, не так ли?

— Я тебя не понимаю, — ответил долговязый эсэсовец. — Выдадим мы сегодня новичкам их рацион? Едва ли. Стало быть, мы принимаем их на довольствие с завтрашнего дня, то есть с седьмого ноября. А если каптенармус герр Шлейхер ошибся, он, конечно, будет благодарен нам за указание на эту ошибку. Я вижу, перед тобой продовольственная ведомость. Могу сразу же подписать ее: новоприбывших в количестве одной тысячи трехсот человек принял на довольствие с седьмого ноября...

Копиц положил локти на стол, подпер руками тяжелую голову и с минуту мял небритую физиономию. Потом он вдруг поднял взгляд, и казалось, что его глаза налиты кровью. Но он сказал удивительно спокойно:

— Ты сошел с ума, и это очень грустно. Очень грустно и очень опасно. Подпиши-ка ведомость, да с шестого числа! Мигом!

— С седьмого, — был ответ. — Я не буду обкрадывать Германию.

— Это твое последнее слово?

Лейтхольд кивнул. Душа его пела: «Я честный человек, я не иду по пути беззакония! Что мне может случиться? Wir, Deutsche, fürchten Gott und sonst niemand auf der Welt <Мы, немцы, не боимся никого, только бога одного (нем.)>. А кроме того, я девяностопроцентный инвалид. Для меня война кончена. Буду вести себя безупречно и подожду, пока она кончится и для других. А потом... Юлишка!»

\* \* \*

Еще во время воздушной тревоги, до того, как тотенкоманду погнали на вокзал, Диего Перейра зашел [334] в двадцать первый барак к немецким товарищам узнать, какие новости они принесли с внешних работ. Он застал их всех в глубине барака, у окна: рыжий Вольфи и рыбак Клаус, склонившись в потемках над котелком похлебки, которую принес Гельмут, резали старые корки на мелкие кусочки и сосредоточенно жевали.

— Mahlzeit! <Здесь: «Приятного аппетита!» (нем.)> — сказал Диего, подойдя к столу. Вольфи узнал его по голосу.

— Заходи, испанская птичка. Есть хочешь?

Остальные пробурчали приветствие.

— Я уже ел, — ответил Диего, нащупывая в темноте свободное место на лавке. — Те, кто оставался в лагере, получили обед в полдень. Вполне приличную похлебку. Кюхеншеф, кажется, сносный человек.

— Гм... — пробурчал Гельмут. — Этаким дохленький. Сам никого не бьет. Приспособил к этому стерву венгерку. Ее прозвали «номер». Я был с котелком в кухне и видел, как она там лупила мусульман палкой, а он глаз с нее не сводил.

Диего подтвердил.

— Девушки сами говорят, что «номер» — стерва. Сегодня я как раз случайно беседовал с теми, что работают в казармах эсэс. Все они злы на Юлишку за то, что она так липнет к Лейтхольду. Она выжила из кухни лучшую девушку, Като, только

за то, что та высказала ей в глаза свое мнение.

— А что представляют собой эти девушки? Я их видел только издалека, — спросил Клаус, погладил свой громадный узловатый кулак и подумал об Ирмгард, которая осталась дома, у моря. So lange...

Испанец получше закутал шею шарфом, словно ему и здесь, в бараке, было холодно.

— Сами знаете, женщины: политически малограмотны, наверное даже религиозны. Но красивые. А та, маленькая Като, говорят, умна, как черт, и их старшая, Илона, тоже. Может быть, стоит поговорить с ними. Но я пришел не за этим, — он махнул рукой и откашлялся. — Расскажите лучше, что было на стройке.

Немцы стали рассказывать новости, их было не много, но и не мало для первого дня. Они беседовали с «красными» капо из других лагерей, удалось перемолвиться [335] словечком и с наемными рабочими. Разузнали, каково положение в Мюнхене: бомбежка, продовольственные трудности, каждый боится «загреть на фронт» и так далее. Что касается самой стройки, то это будет подземный завод какого-то тайного оружия. Точнее никто ничего не знал. Люди на стройке еще не верят, что война уже безнадежно проиграна. Поговаривают даже о каком-то новом наступлении. Газеты подогревают такие настроения...

— Наступление на Востоке? — быстро спросил Диего.

— Куда там! — прошептал Вольфи. — На Востоке они уже не рискнут. А вот около Цах уже несколько дней идут крупные бои. Видимо, остановили наступление американцев. Говорят, что теперь германский генеральный штаб бросил все силы на Запад, чтобы создать прорыв...

— Говорят, все это делается без Гитлера, — прервал его Гельмут. — Один парень из четвертого лагеря клялся, что Гитлер ранен, на него, мол, было покушение. В Мюнхене в воскресенье будет торжество, знаете, очередная годовщина путча, и этот парень видел газету, где говорится, что Адольф на сей раз не выступит с юбилейной речью. А он в этот день выступал ежегодно начиная с тысяча девятьсот двадцать третьего года. Это не случайно!

Диего вспомнил о другой годовщине.

— Э-э, что там Гитлер! Знаете ли вы, ребята, какая завтра годовщина?

— В самом деле! — Вольфи хлопнул себя по лбу. — Завтра в Москве! Седьмое ноября!

— Ну, конечно! — подтвердил Клаус, с трудом отгоняя мысль об Ирмгард.

Гельмут вздохнул.

— Уж они-то будут шагать на параде! Они-то могут кричать ура! Как я им завидую, черт подери!

— Да, — отозвался Вольфи. — У них самое трудное уже за плечами, им можно и повеселиться. Уж если они решились провести парад в сорок первом году, когда Гитлер был в двух шагах от Москвы и всюду орал о своих победах, так завтра они могут спокойно объявить, что для них война кончилась.

— Потому что немцы уже не лезут на них и перебрасывают войска на Запад? — сказал Диего. — Ничего, не беспокойся. «Преследовать фашистского зверя в его

[336] берлоге и там его...» Слышал? Красная Армия уже в Польше. Она не остановится, пока не войдет в Берлин...

— А когда это будет?

— От Сталинграда до Польши подальше, чем от Польши до Берлина. Кто прошел один путь, тот пройдет и другой.

— А мы здесь никак не помогаем им, — Вольфи задумался. — Завтра... вот если бы, черт подери, устроить завтра что-нибудь на стройке... В честь седьмого ноября.

— Поговорили бы вы об этом с Фредо, — сказал Диего, и глаза у него вспыхнули. «Жаль, что я не работаю вместе со всеми там, на стройке, — думал он. — С утра до вечера одно и то же: хоронить, хоронить, хоронить...»

— Правильно, надо поговорить с Фредо! — согласился Гельмут. — Вольфи, сходи-ка к нему сейчас!

\* \* \*

Но маленький грек не загорелся этой мыслью с той же легкостью, как его товарищи. Вольфи торопливо рассказал ему, о чем они говорили в двадцать первом бараче (со стороны кухни уже слышался звон рельса, сзывавший блоковых на апельплац), и Фредо с сомнением покачал головой.

— Не дурите, не затевайте невозможного. Седьмое ноября — хорошая дата, что-нибудь мы предпримем, но только не ожидайте, что сразу же взлетят на воздух горящие бочки с бензином, как тогда в Буне. Это просто невозможно. Диего — старый романтик, революцию без бомб и адских машин он себе просто не представляет. А ты рассуди здраво: на стройку мы завтра идем только во второй раз, ничего там еще не знаем. Чтобы предпринять что-нибудь серьезное, надо продумать и терпеливо подготовить сотни мелочей, а не делать все с кондачка, как неразумные мальчишки. Что ты хочешь: зажечь бенгальский огонь или настоящий пожар?

При слове «пожар» Вольфи провел рукой по своей рыжеватой шевелюре.

— Но дата, приятель, тоже важна. Вот хоть бы раздобыть кусок красной материи и вывесить ее наверху, над сводом.

— Я не против, — успокоил его Фредо. — Видно будет. Здесь, в лагере, нам все равно не шить такого флага, [337] разве что его сделают там, на стройке. Но есть другие дела, посерьезней, которыми мы могли бы уже сегодня отметить завтрашний праздник. Что если бы мы создали наконец дисциплинированную партийную организацию? Сейчас в ней всего несколько человек из старой строительной команды, да и те не сплочены как следует. Возьми хоть француза Жожо, как он себя ведет? Я сам видел, как сегодня при раздаче обеда он унес в барак четыре миски, а мусульманам не из чего было есть. Не качай головой, это не мелочь. Партийную работу надо начинать снизу, с людей, а не с флагов на верхотуре. Нам нужна крепкая организация, надо вовлечь в нее побольше надежных ребят из новичков. Надо показать нашим «старичкам», что пора прекратить безобразия при раздаче еды. Все должны получать справедливые пайки, к тому же быстро, пока не началась тревога. И никто не смеет уклоняться от переноски больных. И еще: если ты или я узнаем какие-то новости, этого мало.

Хорошие вести с фронта надо быстро доводить до людей. На внешних работах мы должны прочно связаться с ребятами из всех лагерей. Что скажешь? Это выглядит не так эффектно, но это именно то, что нам сейчас нужно и что мы можем сделать в честь седьмого ноября.

\* \* \*

Писарь с важным видом вошел в контору, уселся на свое место напротив Зденека и прохрипел:

— Завтра ты остаешься в лагере. Я только что добился этого у рапортфюрера.

Он ждал, что помощник будет благодарить его, но Зденек, казалось, был даже разочарован.

— Нет, нет, герр писарь, пожалуйста, не надо, я этого не хочу. Мне нужно завтра к Моллю.

— Глупости, ты останешься здесь. Другой бы мне ручки целовал... Не заслуживаешь ты, чтоб я так о тебе заботился!

«Скажу ему правду, — решил Зденек. Писарь, хоть он и бывший колбасник, не чужд сентиментальности, свойственной венцам, которые гордятся своим «weiner Gemüt» <венским добродушием (нем.)>.

— Герр Эрих, вы меня поймете. Мне сообщили, что в лагере номер пять лежит мой брат Иржи. Помните, я вас однажды спрашивал, не встречали ли вы его в [338] каком-нибудь лагере. Он в заключении с тридцать девятого года. Сейчас он при смерти и находится тут, рядом, в «пятерке». Завтра на стройке я должен увидеться с его товарищами. Потому-то я сейчас все стараюсь раздобыть побольше хлеба. Чтобы передать брату.

Писарь и в самом деле не поднял крика.

— А не врешь? — спросил он почти приветливо. — Может быть, у тебя свидание с какой-нибудь девчонкой? Тогда я тебя огорчу еще раз: девчата тоже не пойдут к Моллю. Я это устроил.

— Герр Эрих! — в голосе Зденека была такая обида, что писарь поверил своему помощнику, но остался непоколебим.

— Все равно ничего не поделаешь, я ведь о тебе специально договорился с Копицем, теперь уж нельзя на попятный. Да ты и сам должен понимать, сколько у нас с тобой работы. Всю ночь возня с новым транспортом, да еще рапортчики о мертвых. Со станции уже сообщили, что их там сорок девять. А кроме того, наши собственные... Нет, парень, ты никуда не пойдешь. Но все это можно устроить иначе. Напиши письмецо и передай его брату вместе с хлебом через кого-нибудь. И попроси таким же путем ответ. Я бы и сделал именно так. Приучайся и ты распоряжаться людьми. Подходящих людей найдется сколько угодно. А на внешние работы ты едва ли уже попадешь, на это не рассчитывай. Завтра вторник, в четверг я иду на призыв. Если меня возьмут в армию, ты останешься в конторе один и можешь считать себя главным писарем. Что, плохая карьера?

Зденек не знал как быть. Он ведь не рассказал писарю всего, да и не мог рассказать. Правда, брат — главная причина того, что он хочет завтра попасть на стройку, но ведь есть и другое важное обстоятельство, которое тревожит Зденека. Что скажут

Гонза и товарищи, если он, Зденек, не справится с первым же поручением? «Я не могу выполнить задания, товарищи, потому что я не попаду на стройку...» А если ему не поверят и решат, что он струсил и нарочно подстроил все это, чтобы уклониться от опасности?.. И еще: что если в самом деле сбудется предположение писаря — его возьмут в армию, и на Зденека свалится ужаснейшая ответственность? Это была бы просто катастрофа. Стать главным писарем, остаться в конторе без Эриха, то и дело ходить в комендатуру, [339] общаться с эсэсовцами, выполнять их распоряжения... сотрудничать с ними! Ну да, сотрудничать. Разве сам Зденек не считает писаря заправским коллаборантом? «Эрих не самая большая сволочь, но порядочная», — говаривал он о писаре. А теперь ему самому придется взять на себя эту грязную работу! Вот и Гонза только что сказал, что Зденек зазнался. А что он скажет, если Зденек станет главным писарем! Что скажет партийная группа?

Но тут Зденек подумал о Фредо и Оскаре. У Оскара высокое положение в лагере, он возглавляет лазарет. Ну и что же, разве он коллаборант? Разве зол на него Гонза? Разве коммунисты не доверяют Оскару? Ведь он настоящий человек, он бьется за каждого больного, не трусит, против него спасовал даже Фриц... Значит, можно стать проминентом и остаться порядочным человеком?

Вот в том и загвоздка: чтобы остаться порядочным, надо им *быть*. А я порядочный человек или нет? Есть ли у меня твердый характер Оскара, здравомыслие Фредо, смелость Диего? Во что превратит меня проминентская должность?

— Я в главные писари не гожусь, — сказал наконец Зденек. — Герр Эрих, очень вас прошу, пустите меня на стройку, а сюда возьмите кого-нибудь подходящего. Еще есть время, до четверга вы его научите.

— Ну, хватит болтать глупости! — Писарь стукнул кулаком по столу в знак того, что сегодняшняя порция «weiner Gemüt» исчерпана, и обругал Зденека неблагодарным трусом, не замолчав даже, когда вошел арбейтдинст Фредо.

\* \* \*

Гонза Шульц лежал у себя, в мусульманском бараке. Он слишком устал, чтобы дожидаться новичков. Кто хочет, пусть ждет их, а он предпочитает использовать последнюю ночь в лагере для отдыха. Гонза закутался в одеяло и закрыл глаза. «Отдохнуть, набраться сил, все остальное — завтра», — внушал он себе, но никак не мог отделаться от беспокойных мыслей. Прошлое и будущее казалось ему покрытым мраком неизвестности. Закрыв глаза, Гонза старался заснуть, но и перед закрытыми глазами стремительно и безостановочно мелькали какие-то образы, воспоминания... Терезин, Ольга, хижина из покраденного материала, прилепившаяся на косогоре, над [340] казарменными строениями. Вырванное у судьбы счастье, жадно хранимое, крохотное счастье, подобное белому орешку, который ухватила белка и несет к себе в дупло. Ей и страшновато, и интересно взглянуть, что творится вокруг, она то замрет на месте, с бьющимся сердцем оглядываясь по сторонам, то продолжает карабкаться вверх. Этаким милый зверек!.. Страшные вещи видит белка вокруг, всюду разрушение и смерть, и все-таки, да простит меня бог, сколько забавного кругом! Вот, например, по переулкам терезинского гетто тащутся погребальные дроги. Но на них нет гробов с покойниками, дроги нагружены... кониной, которую везут на кухню. В оглобли впряглись живые люди, среди них и Гонза. Погребальные дроги были в Терезине

«трамваем за все».

«Поскольку распущенная ныне еврейская община в Чехии и Моравии не располагает никакими транспортными средствами, кроме нескольких старых, не пригодных более ни для какой цели погребальных колесниц, настоящим разрешается использование их в гетто...»

Иногда на дрогах возили провизию, иногда еще что-нибудь. Сегодня для разнообразия на дрогах везут старух, они сидят, свесив тощие ноги. Это прибыл «старушечий транспорт»... Значит, Ольга будет до ночи работать в бане... Но сейчас мы около кухни. Старухи голодны. «Молодой человек, вы будете кушать свою похлебку?» — «Молодой человек, будете кушать?..» Со всех сторон тянутся жестяные миски, отталкивая друг друга, тысячи мисок монотонно стучат, издавая глухой звук, словно струи воды падают на бетонный пол... Вода льется на бетонный пол, ага, это старухи уже в бане! Жалкие тела, безнадежно изношенные, как и те жестяные миски. Старухи дрожат под душем, толкаются и плаксиво причитают. Ольга возвращается в их «бунгало» подавленная, со слезами бросается в объятия мужа: «Неужели и у меня будет когда-нибудь такая безобразная кожа, как у них?..» — «Нет, нет, не будет. Оленька, не расстраивайся. Мы никогда не состаримся, не плачь. Ты молодая и красивая, как...»

«Картинка!» Гонза торопливо становится на колени и ожесточенно роется в стружке, ища шелку в нарах.

— Что ты там возишься? — сердито спрашивает сосед слева. [341]

— Тебя тоже забрало? — ворчит сосед справа, выплевывая попавшую в рот стружку.

Гонза не отвечает. Через минуту он, улыбаясь, опять ложится на бок и заворачивается в одеяло. Рентгеновский снимок Ольгиных зубов у него в руке, Гонза прижимает его к сердцу. Он не оставит этого снимка, ни за что не оставит его в проклятом лагере! Завтра он возьмет его с собой на работу, а оттуда — фьюить! А сейчас закрыть глаза, поскорее заснуть, отоспаться, набраться сил! Скорее бы конец! Может быть, я завтра не проскочу даже левую линию часовых... Но я попробую, попытаюсь, прыгну, как белка, или нет, лучше пригнусь и поползу по земле. Домой! Домой! Да, Оленька, мы с тобой никогда не состаримся, мы не сдадимся, не сдадимся, не скиснем в унылом ожидании. Чем гнить за колючей проволокой, лучше...

— Отстаньте! — Заснувший Гонза вздрагивает и испуганно открывает глаза. В проходе у его ног стоит Фредо и стаскивает с него одеяло.

— Выйди со мной на минуту, — говорит он. — Надо срочно поговорить.

Гонза послушно поворачивается, берет в охапку одежду и обувь, лежавшие у него под головой, и слезает с нар.

— Какого еще черта? — говорит он, начиная обуваться. — Ты же знаешь, что на меня нечего рассчитывать...

Фредо отвечает только у дверей:

— Я не по пустякам, а по делу. У нас неудача: писарь Зденек завтра не идет на внешние работы. Надеюсь, ты не сказал ему, что мы от него хотим?

— Как не сказать, сказал! — бурчит сонный Гонза. — Пришлось сказать. Я же не знал, куда меня завтра пошлют и будет ли возможность... В общем я ему сказал все. Он ходит с повязкой, он меня сам найдет и...

— Зденек остается в лагере, понял? С ним ничего не выйдет.

— Струсил, видно, сукин сын, а?

— Он не виноват. Писарь его не отпускает, я сам слышал, как он ругал Зденека за то, что тот ему перечил. Зря ты ему все сказал.

— А разве это повредит? Я думаю, он будет помалкивать. Побойтся за своего брата. [342]

— Он нас не выдаст, я беру его на себя, но сейчас не в этом дело. Даже самый надежный человек должен знать лишь необходимое. Разве вы не придерживались такого принципа в вашем подполье?

Гонза кивнул.

— Придерживались и будем придерживаться. А как здесь будете действовать вы, это уж ваше дело. Я лично завтра... в общем ты знаешь. Я обещал тебе связать Зденека с чехами из пятого лагеря, и кончено. Если он не идет на работу, ничего не поделаешь.

— Не говори так. Найди замену, это твой долг.

Гонза усмехнулся.

— Нет, господин арбейтдинст, я уже больше ничего не сделаю. Завтра я сметаюсь.

— Тебя пристрелят, вот увидишь. Я никому не могу помешать наложить на себя руки, но коммунисту не следовало бы идти на такую авантюру. Да еще седьмого ноября.

— А почему именно не седьмого?.. — тут Гонза вспомнил: — Ах да, завтра как раз седьмое! Обязательно сбегу!

Фредо схватил его за куртку и затряс. Он был мал ростом, но руки у него были очень сильные.

— Иди хоть к черту в пекло, но сперва выполни задание. Хоть раз почувствуй себя в Гиглинге членом партии! Завтра утром приглядишься к людям, крепко подумай и дай мне знать, кого ты подобрал для связи с пятым лагерем. Вот и все задание. На седь-мо-е но-яб-ря, понял?

\* \* \*

Зденек волновался. Он хотел еще ночью сообщить Гонзе, что произошло, но писарь все время был начеку. Пришлось сидеть над картотекой, потом составлять сводку за вчерашний день. Эрих ходил рядом, как лев в клетке, и каждую минуту выглядывал в окошко на апельплац, не прибыл ли новый транспорт. Он почти не отвечал на приветствия капо, то и дело заходивших погреться и узнать, что нового. Карльхен с палкой, Дерек, Мотика, Гастон — все побывали в конторе.

Потом пришел Фредо, метнул взгляд на Зденека, склонившегося над работой, и сказал писарю:

— Слушай, Эрих, а что если дать тебе подкрепление на ночь? Секретарша из

женского лагеря весь день была [343] в лагере, отдохнула, в картотеке она разбирается. Могла бы заполнять карточки вместе со Зденеком, видишь ведь, что он зашивается и уже клюет носом.

Удивленный Зденек поднял голову, ему совсем не хотелось спать. Фредо заговорщицки прищурил глаз.

— Уж ты придумашь, — проворчал писарь. — Отстань! Чеху ничуть не труднее, чем мне или тебе. Мы тоже работали весь день, а теперь придется поработать ночь, да, может быть, и не одну. Но в общем это неплохая мысль. Жаль, что Лейтхольд уже ушел. Если он появится на приемке транспорта, я скажу ему, чтобы отпустил к нам эту секретаршу.

Через минуту он в беспокойстве вышел за дверь, и Фредо со Зденеком остались одни.

— Как поживает твой брат? — сказал грек.

Зденек уставился на него.

— Ничего, ничего! — усмехнулся Фредо. — Меня послал Гонза Шульц узнать, как поживает твой брат. Поскольку ты завтра остаешься в лагере, связь будешь держать со мной. Гонза уже знает.

Зденек уронил руки на колени.

— А знает он, что я ничего не мог поделать, меня насильно оставили в лагере? Как я ни старался, ничего не вышло.

— Не беспокойся. С Эрихом больше не спорь. Наоборот, сделай вид, что ты очень доволен и благодарен ему. И если в четверг его призовут...

— Послушай, Фредо, я тебе всерьез говорю! Я не могу занять его место. Я... я слабый человек и не подойду для вас... Я не сумею поставить себя...

— Не бойся, ты будешь не одинок, — прошептал грек. — Найдутся советчики, ты будешь знать, чего от тебя хотят. Научись всему и будешь полезен людям больше, чем Эрих. Не так уж это трудно.

Смущенный Зденек твердил свое: «Эрих был не так плох».

— Не так плох, это верно. Но он вел собственную, шкурническую политику. Если мы добьемся, что писарь будет делать больше... Я кое-что слышал о твоём брате, приятель, подумай о том, как поступил бы он. Можешь ты быть таким, как Иржи?

— Хотел бы. Но он всегда был гораздо лучше меня... Фредо, скажи, пожалуйста, можно для него что-нибудь [344] сделать? Я приготовил хлеб и напишу ночью записку. Может, Гонза передаст это для него?

— Не беспокойся, устроим.

Дверь открылась, взволнованный писарь заглянул в контору.

— Выходи, Фредо, транспорт уже здесь!

\* \* \*

Долгая ночь. На апельплаце холод, плач и резкие окрики. В конторе тепло и тихо. Зденек с трудом открывает глаза, читает рапортчики, нацарапанные капо на клочках бумаги, разносит их по карточкам. Напротив сидит Иолан, оживленная,

отдохнувшая, любопытная. Перед ней тоже стопка карточек, она заполняет их, но ей больше хочется болтать со Зденеком. Она уже рассказала ему, какая сегодня у нее была радость: она получила прелестного котенка, — его принесла Кобылья Голова, кто бы подумал!

Зденек склонился над столом и продолжает работать. Но Иолан не понимает:

— Вы однажды обещали поговорить со мной о кино. Я все думаю об этом... Вы, наверное, тоже?.. Ведь в лагере приходится столько видеть и пережить... Вы, наверное, ждете не дождетесь времени, когда сможете поставить фильм о концлагере?

Зденек приоткрыл рот и провел рукой по лбу.

— Как вы сказали?

Иолан покраснела, глаза у нее горели.

— Вы, наверное, только и думаете о том, как начнете работать над фильмом о концлагере... После войны, конечно. Его будут ждать с нетерпением, люди захотят увидеть, но ни за что не поверят, что все это действительно было... И вот тогда те, кто сам это пережил, смогут показать всю правду...

Зденек поддакивал. Ее слова доносились до него откуда-то издалека. Чего только не придумает эта девчонка! Воображает, дурочка, что у меня тут нет других забот.

— Для вас это будет первейшее дело, а? Я так вам завидую: вы, может быть, уже сейчас на все смотрите под этим углом зрения, не так, как мы все. Если кто-нибудь болтает глупости, вот как я сейчас, вы, наверное, глядите на него слегка удивленно и отчужденно и [345] думаете: нет, в фильм я этого не вставлю! — она покраснела еще больше, засмеялась и продолжала: — Я все вижу, не отпирайтесь! Если бы я умела делать фильмы, я бы тоже ко всему относилась, как вы, не огорчалась бы из-за мелочей, смотрела бы на все сверху вниз, а на саму себя — как на персонаж, который переживает свою будущую кинороль. Я, видите ли... — Она опять засмеялась, — я всегда мечтала писать для кино... или романы. Я даже пробовала... у меня дома есть такая толстенная тетрадь, полная всяких пустяков, которым грош цена. Если бы я умела, если бы я сумела что-нибудь создать, как вы, мне было бы куда легче переносить жизнь здесь...

Зденек улыбнулся. Он очень устал, мысли у него путались, но он не мог не улыбнуться. Все от него чего-то хотят: писарь — работы без отдыха, Фредо — твердости характера, партия хочет поглотить его целиком, как поглотила брата... а теперь еще вот эта венгерочка хочет, чтобы Зденек только и думал о будущем фильме, в котором будет заснят концлагерь. Не знаешь, смеяться или плакать. А ну вас всех к чертовой бабушке!

Иолан продолжала говорить, и теперь Зденек очень хорошо слышал ее.

— Сознайтесь, что у вас уже есть наброски для сценария. Неужели нет? В самом деле? Значит, вы все держите в голове. Мне бы так хотелось знать... ну, пожалуйста, расскажите, как он будет начинаться! Знаете, я читала сценарии в журнале... Затемнение, диафрагма, деталь, общий план... ах, это так интересно! Пожалуйста, господин Зденек, расскажите, как будет начинаться ваш фильм.

«Дура!» — подумал Зденек, в душе осуждая назойливость этой девчонки. А может быть, это не назойливость, может быть, она не так глупа... Он взглянул в лицо

Иолан и увидел большие умные и очень живые глаза, чистый крутой лоб под платочком, красные пятна на щеках. Нет, эта девушка любознательна, честолюбива, беспокойна, но не назойлива, не глупа.

Признаться ей, что он, Зденек, совсем не так много думает об искусстве, как ей кажется? Ему, правда, иногда приходят в голову какие-то образы, что-то похожее на отрывки сценария, но он сразу отгоняет такие [346] мысли, как дерзкие, неуместные, несвоевременные. Сказать ей, что все существо Зденека внутренне противится такому сюжету — лагерь, смерть, вши... Все это надо пережить, перетерпеть, твердил он себе, но делать из этого зрелище для людей, которые сейчас сидят в тепле и никогда не поймут?.. Неужели надо убеждать кого-нибудь, что фашизм — это варварство.

Есть люди, которые этого еще не понимают. А если так, то неужели нужно объяснять им это с помощью фильма, в котором музыка смягчит бессильный мужской плач? Разве можно найти здесь, в концлагере, такую фабулу и сюжет, каких требует публика. Завязку, действие, привычного киногероя? Здесь есть только такие герои, как Диего, Фредо, Оскар — наверное, и мой брат Иржи такой же, — герои, которые до последнего дыхания помогают товарищам, герои, которые идут против течения. Но как воплотить их на экране? Как показать силы, которые почти незримо движут ими в этом море грязи? С какого возвышения мне, червяку из червей, взглянуть на лагерь, чтобы увидеть не только чуть поколебленную поверхность трясины, где тележка с трупами оставляет чудовищный след, непреодолимый, как горы и доли?..

И вот перед тобой сияющие юные глаза, полные любопытства и благожелательности, совсем не глупые и не назойливые. Эта девушка не хочет жить или умереть зря. В ее пылкости видно стремление к тому, чтобы Гиглинг, транспорты заключенных, сам Гитлер, в общем, все окружающее стало для людей уроком, чтобы кто-нибудь воссоздал картины этого лагеря, вложил персты в его раны и во всеуслышание рассказал о том, что здесь сейчас происходит.

— Я вас разочарую, — медленно сказал Зденек, — у меня нет никаких замыслов. Нет ни начала, ни конца фильма. Я слишком погряз во всем этом, у меня захватывает дыхание, я не могу взобраться так высоко, чтобы видеть как следует. Не ждите от меня ничего.

— Не верю! — И голос ее прозвучал так искренне, так молодо и просто, что у него вдруг навернулись слезы.- Как только распахнутся ворота лагеря, все придет!

— А может быть, этого дождетесь именно вы,- улыбнулся он, хотя слезы застилали ему глаза. [347]

Она встала, подошла к нему и провела рукой по его стриженной голове каким-то не девичьим, а материнским жестом.

— Я не доживу, — прошептала она. — Я это знаю.

Он поднял голову и замигал.

— Знаете? Что знаете?'

Иолан медленно вернулась на свое место, ссутулилась, как будто сразу устав.

— Надзирательница... Она в самом деле любит меня, но как-то по-своему... очень страшной любовью. Она, наверное, убьет меня.

— Это неверно, — запротестовал он. — Что за глупости вы себе внушаете.

Она снова сидела против него и улыбалась, на щеках ее был темный, нездоровый румянец, глаза блестели.

— Ну, расскажите же мне о своем фильме. Теперь вы будете думать о нем чаще, чем прежде? А почему бы вам не делать заметок о здешней обстановке, о людях, обо всем...

— А почему бы вам самой не попробовать? Вы умница... вам надо бы...

Она приложила палец к губам и ласково покачала головой.

— Ш-ш! Обо мне ни слова. А котенка возьмите к себе, когда меня не станет...

3.

Два дня прошли, как кошмар. Лагерь был забит до отказа, но даже расширенный лазарет не мог скрыть от здоровых тяжкие недуги больных. В первый же день умерло двадцать новоприбывших, на другой день — почти тридцать. Завшивели они куда больше, чем старые обитатели лагеря, у которых тоже было немало вшей. Да и со старожилов смерть взяла свою дань: вечером седьмого ноября умер от истощения доктор Имре Рач. Он не вынес перевода в рядовые «мусульмане». Новый дантист лагеря, поляк Галчинский, наспех выбранный из новичков, вытащил у него золотую коронку. На следующее утро угас Феликс, угас так тихо, что в течение нескольких часов никто не замечал этого. Зденека позвали, когда тело Феликса уже [348] совсем остыло. Феликс лежал голый в проходе барака, прозрачная кожа обтягивала синеватые суставы. Он не походил на других мертвецов: рот его был плотно сжат, следов старой раны почти не было видно, все отлично срослось. И только глубокая складка у рта, казалось, хранила в себе упрямое, обиженное молчание.

Зденек смотрел на товарища и терзался угрызениями совести. Феликс умер потому, что я перестал заботиться о нем, твердил он себе. Мало было носить ему похлебку и сахар. А моя голова в последнее время была слишком занята другими людьми, прежде всего братом, а вот теперь еще этой венгерочкой. Нечего ссылаться на последствия операции, на Дейбеля и на страшную переключку босых... Феликс умер просто потому, что я перестал любить его по-настоящему. Если я забуду о Ганке, она тоже умрет. Нельзя забывать своих близких! Пока я еще силен, пока жив, надо помнить их всех!

Зденек вернулся в контору и еще ниже склонился над картотекой живых. Он взял ее в руки, как музыкальный инструмент, и с какой-то суеверной осторожностью перебирал карточки, словно ища в них живой дух лагеря. Когда ему приносили грязный обрывок бумажного мешка с нацарапанной на нем фамилией умершего, Зденек очень осторожно извлекал из ящика соответствующую карточку, чтобы, боже упаси, не вынуть другую. Непослушные карточки выпирали, словно им во что бы то ни стало хотелось выскочить. А куда они могут попасть, как не в картотеку мертвых? И Зденек утихомиривал их, выравнивал, как пастух непокорное стадо. Где-то там, в середине, стояла и его собственная карточка, она вела себя скромно, не высывалась над другими, не дезла наружу. В последний раз он видел ее в ту ночь, когда привезли девушек. С тех пор его карточка погрузилась в глубь картотеки, залегла, и похоже было, что останется там на веки вечные.

\* \* \*

Однажды Бронек прибежал в контору с котенком на плече. Он шел мимо женского лагеря, Иолан окликнула его и в щель между рядами колючей проволоки [349] подала Бронеку мохнатый комочек. Отнеси, говорит, Зденеку, пусть киска привыкает и к нему.

Зденек покачал головой. Эта шальная девчонка вбила себе в голову, что умрет. Он взглянул на прелестного, довольного зверька, которого Бронек ласково прижал к лицу. Зденек улыбнулся, посадил котенка перед собой и стал смотреть на его игривые движения. Котенок встал, зевнул, выгнул спину, потом прыгнул на картотеку живых и стал хватать лапкой обтрепанные концы карточек. Одна из них зацепилась за коготок и вылезла из ящика.

Улыбка сбежала с губ Зденека, на секунду у него дрогнуло сердце. «Этот человек умрет, - подумал он с испугом. — Тот, чью карточку вытащил котенок, умрет!»

— Убирайся, паршивец, тут тебе не место, — воскликнул он сердито. — Бронек, пожалуйста, отнеси его обратно! — И, увидев в глазах молодого поляка удивление и несогласие, объяснил: — Видишь ли, эта девушка не верит, что она выйдет живой из лагеря. Мы не должны поддерживать в ней такое убеждение. Передай ей от меня, что котенок принадлежит ей, только ей, и должен у нее остаться. А она не смеет умирать, потому что иначе некому будет заботиться о котенке... Скажи это как-нибудь повеселее. Я сам не могу, мне еще грустнее, чем ей.

\* \* \*

У Эриха все время были какие-то дела в комендатуре, староста лагеря Хорст крутился около кухни, вернее около Беа, остальные девять «зеленых» почти не вылезали из немецкого барака, докуривали последние окурки, допивали остатки шнапса и дулись в карты, на которых от грязи нельзя было различить масти. Карльхен иногда громко вздыхал и громадной ручищей похлопывал Берла по спине; он вчера продал его за кусок сала блоковому — французу Жожо. Новый хозяин был снисходителен: он оставил свое приобретение прежнему владельцу до четверга, а сам отправился на стройку раздобыть жратву.

Помыслы всех «зеленых» не шли дальше четверга. Коби с помощью оживленной жестикуляции объяснил Фердлу, что они вместе идут на войну. Глухонемой так [350] обрадовался, что это всех обозлило. Никто из «зеленых» не возражал против ухода из лагеря, явно обреченного на вымирание, но это еще не значит, что надо распускать слюни от счастья, как этот кретин Фердл.

Утром они веселенькие поедут в Дахау, это факт. Там их ждет медицинский осмотр в призывной комиссии. И хотя в Освенциме они привыкли называть медосмотры «селекцией», на сей раз все «зеленые» радовались, что им предстоит такая «селекция». Гомосексуалисту Карльхену пришлось бесконечно выслушивать насмешливые советы о том, как избежать на осмотре некоей щекотливой неприятности.

Но этим веселье не исчерпывалось. Что будет потом, в четверг днем или в пятницу, в воскресенье или через две недели, — об этом никто не решался подумать.

Вдобавок в среду начался снегопад. Зепп лежал ничком, подпершись кулаками, и с упоением глядел в окно на усиливающуюся метель.

— Du, mein lieber Herrgott! <О господи! (нем.) > — сказал он тихо. — Уж я бы нашел, куда сейчас поехать, кабы не фронт...

Остальные играли в карты и не обращали на него внимания.

— Знаете, куда я поехал бы! — продолжал Зепп.

— Знаем, — через плечо проворчал Коби. — На Арльберг, там как раз начинается лыжный сезон.

Зепп вздохнул.

Гюнтер зажал пальцами нос и загнусявил, подражая вокзальному громкоговорителю:

— Лыжники, поезд отправляется. Все по вагонам! — потом он с довольным видом хлопнул картой по столу. — Ого-го, к нам уже едут «зайцы» или «schihaserln» <новичок в лыжном спорте (нем. *спортивный жаргон*)> учиться слалому... — Все приятели Зеппа давно знали его чаяния.

— Самая красивая из всех «зайчих», разумеется... — сказал Карльхен на ухо Берлу.

— ...влюбится в герра Зеппа, — со смехом dokonчил тот.

Коби опять перехватил нить повествования.

— Герр Зепп опять станет лыжным тренером... Ты, [351] олух, не видишь, что я даю в масть? М-да, опять, стало быть, станет тренером...

— ...Самым прославленным на всем Арльберге, — сонно продолжал Карльхен, — потому что...

— ...Потому что никто не ездит лучше по методу Шнейдера, чем герр Зепп, — заключил Берл, который в жизни ни разу не стоял на лыжах и представления не имел о том, что это за метод.

Была очередь Гюнтера.

— «Зайчонок» будет, вероятно, блондинка в изящных черных брюках. Она потихоньку попросит Зеппа увести ее куда-нибудь в горы, где она может загорать до пояса...

— Вот и путаешь, -хмуро отозвался Зепп. — Так могло бы быть только на пасху. А сейчас, накануне рождества, в горах туман и холод. Нет, я пригласил бы ее в свою комнатку в отеле...

— ...в третьем этаже, отлично вытопленную! — подхватил Коби.

— Отвяжитесь вы от меня! — воскликнул Зепп, вскакивая. — Вы и представления не имеете, что за персона тренер по лыжам. Ведь стоит только мигнуть, и самые красивые лыжницы кидаются ему на шею. Что вы понимаете в шикарной жизни, вы, плотник, шофер и слесарь! Когда в горном отеле натоплено, там можно и в мороз распахнуть окно настежь...

— ...И у самого окна валяться с очаровательной лыжницей на широком диване, — вставил Гюнтер, шлепая картой.

— Да! — в восторге закричал Зепп. — В том-то и счастье, вы, бедняги! Понимаешь, тебе и жарко и холодно, мурашки пробегают по коже, тело все

напряжено, оно живет, о господи, как живет!

— Только зря оно жило с той лыжницей, что оказалась дочерью эсэсовского генерала Лаубе, -сухо заметил Коби.

— М-да, зря... — трагически, как на сцене, провозгласил Зепп и опять уткнулся лицом в тюфяк.

— Крою! — сказал Карльхен.

\* \* \*

Рапортфюрер использовал последние часы пребывания Эриха в лагере, чтобы просмотреть и привести [352] в порядок всю отчетность, в особенности по снабжению. Неприятное столкновение с Лейтхольдом не выходило у Копица из головы. Дело дрянь, когда под боком этакий невменяемый святоша. Чего хочет Лейтхольд, на что он целится? А вдруг он уже потихоньку написал донос в какую-нибудь высшую инстанцию и теперь ждет ревизии? Как иначе объяснить его упрямое «нет», когда на следующее утро после той стычки Копиц сам предложил ему мировую?

— Слушай, Лейтхольд, — сказал рапортфюрер. — Забудем вчерашнее. Ты девяностопроцентный инвалид. Если бы это зависело от меня, я бы признал тебя инвалидом даже на сто девяносто процентов, ха-ха! Помнится, ты хотел уйти отсюда, подать рапорт, что же, пожалуйста. Я напишу свое согласие, дам тебе хороший отзыв, ускорю это дело. Что скажешь, старина? Я буду вести лагерь по-прежнему, а тебе будет житья лучше, чем сейчас. Согласен?

Но Лейтхольд упорствовал. Он уже больше не был загипнотизированным кроликом, не позволил Копицу пожать свою руку, отдернул ее.

— Я ничего не имею против тебя лично, герр рапортфюрер, пойми, — сказал он. — Но, извини меня, я честный человек. Самый обыкновенный честный человек, который по зову родины становится в строй, чтобы служить ей. Я хотел бы спокойно служить до тех пор, пока -извиняюсь! — не наступит мир. Очень тебя прошу помочь мне. Если я вчера был несколько резок, извини, такое уж у меня было настроение. Собственно, сегодня оно не изменилось, но я взял себя в руки. Сделай и ты то же самое, и увидишь, что, если у нас обоих будет хоть немного доброй воли, мы вместе выдержим до конца... Гм-м... до победного конца этой навязанной нашему фюреру войны.

— Я вижу, тебе опять пришла охота ораторствовать, — кисло сказал Копиц. — Я еще помню твои прекрасные слова о том, что я попираю ногой поверженную жидо-большевистскую гидру или еще какую-то чертовщину. Учти, пожалуйста, что человек, который так долго стоит на одной ноге, может, чего доброго, нажить мозоль и тогда способен прикончить каждого, кто на нее наступит. Проваливай! [353]

Да, Копиц высказался напрямик, это правда. Но разве это выход из положения! Тот, кто смотрит на вопросы снабжения иначе, чем рапортфюрер, непостижимый и крайне опасный чудак. На Лейтхольда напало какое-то бешенство. Правда, он обещал не кусаться, но разве можно полагаться на обещания бешеного? А если бы он даже и не кусался, что толку? Копиц сам хочет кусаться. Не отказываться же из страха перед Лейтхольдом от удобных ему порядков в лагере!

— Нам нужен другой кухеншеф. И как можно скорей, — ворчал рапортфюрер, глядя, как Эрих листает ворохи бумаг и усердно подчищает следы старых грешков.  
— Тебе это тоже ясно?

Ответить «разумеется» для писаря было делом чести. Он намеревался до последнего дня поддерживать впечатление, что Эриху Фрошу всегда все ясно и известно.

— А что ты, собственно, заметил? — осведомился Копиц.

Писарь поднял голову и замигал. Глаза у него и так болели от напряжения, а тут еще рапортфюрер все время отвлекает.

— Ну, я тоже присматривался к Лейтхольду, герр рапортфюрер. Такие люди, как он, просто не годятся для сложной работы в лагерях.

— Почему? — допытывался шеф.

Это уже становилось неприятным. «Зачем мне перед самым уходом наживать врагов?» — подумал писарь.

— Для службы в лагерях нужны такие люди, как вы: железная дисциплина и прочее, — проворчал он уклончиво.

— Не треплись, скажи прямо, что ты думаешь о Лейтхольде. Разве он не дисциплинирован?

Писарь усмехнулся с понимающим видом.

— Так, как вы, безусловно нет. Он ведь новичок, в Освенциме не был, в потехе с цыганками не участвовал.

— Заткнись, — сказал Копиц, но не рассердился. — Это уже дело прошлое.

— Для вас, но не для герра Лейтхольда. Разве вы не заметили, что надзирательница подсунула ему в кухню самых красивых девушек? Он новичок, чего же удивляться, что у него немного закружилась голова.

— Чего же удивляться... — машинально повторил Копиц и замолк. Собственно говоря, он ведь спрашивал [354] о другом, зачем же писаришка припутывает сюда девушек? А впрочем, это было бы неплохо. Что, если Лейтхольд спутался с одной из них и именно поэтому не хочет уходить из лагеря?... Завел шашни с жидовкой, она-то и уговаривает его не обворовывать заключенных... Это было бы просто великолепно!

— Слушай-ка, писарь, придержи язык. Не рекомендуется так говорить о члене эсэс. Что ты имеешь в виду?

Писарь опять замигал. Он понимал, что этот старый пройдоха говорит « придержи язык », а сам в глубине души желает, чтобы Эрих выложил ему побольше самых грязных сплетен.

— Завтра я отправляюсь на фронт, герр рапортфюрер, так зачем же мне...

Копиц наклонился к нему.

— Никуда ты не отправляешься, — отдельно произнес он. — Сдохнешь здесь, так и знай. Официально из Дахау еще не пришло ни строчки насчет призыва. Это, во-первых. А во-вторых, у тебя сшитое горло, и тебя все равно не возьмут в армию.

Ты останешься здесь, и я тебе его распорю по швам, если ты сейчас же не расскажешь мне все, что знаешь о Лейтхольде. С кем он путается? Ну!

— Но, герр рапортфюрер...

— Этого я от тебя добьюсь, даже если придется вызвать Дейбеля. Тут уж будет без церемоний! С кем?

Дело принимало плохой оборот. И как только все это вдруг получилось? Еще пять минут назад можно было говорить с Копицем о старых добрых временах и об освенцимских цыганках, а сейчас конец подобным элегиям. Писарь слишком хорошо знает своего начальника — сейчас надо отвечать...

— С какой именно, я, честное слово, не знаю, — робко оказал он, — но когда вы срочно вызывали Лейтхольда вечером, я нашел его на кухне. Он просидел там всю тревогу, запершись с двенадцатью девушками.

— И, конечно, в темноте, — сказал Копиц и стал ходить по комнате. — Но в этом нет ничего особенного. Куда же ему было деться во время налета? С двенадцатью девушками... вот если бы с одной, тогда другое дело.

Писарь постарался перевести разговор на менее щекотливую тему. [355]

— С одной девушкой тут была наедине фрау надзирательница и даже принесла ей в подарок котенка...

— Не путай ты разные вещи! — махнул рукой задумавшийся рапортфюрер. — Россхаупт меня сейчас не интересуется... Кстати, я узнал от девушек в эсэсовской кухне, что она бьет эту свою секретаршу. Значит, все в порядке, кто же может ее упрекнуть за побой? А вот Лейтхольд к ним подозрительно добр, с ним надо быть начеку.

\* \* \*

В среду вечером, еще до того, как все заключенные вернулись с внешних работ, Оскар собрал врачей на совещание. Койку большого Рача занял новый дантист, в остальном в лазарете все осталось по-прежнему. Санитар Пепи возился с мисками и ложками, маленький Рач сидел рядом со своим другом румыном. Шими-бачи до сумерек бегал по больным и пришел в лазарет последним. Старший врач поглядел в окно, на фонари на ограде, потом повернулся к коллегам и выпятил подбородок.

— То, о чем мы сейчас будем говорить, должно пока что остаться между нами. Слышишь, Пепи? Сходил бы ты лучше к своим товарищам в немецкий барак. Все равно ведь завтра ты с нами [{22}](#) расстаешься.

— Вот именно, поэтому не выгоняй меня, Оскар! — жалобно попросил Пепи.

Оскар усмехнулся. Ему тоже не хотелось расставаться с придурковатым судетцем. А, кстати говоря, почему Пепи прозвали дурачком? В последнее время он вел себя отлично и даже не хвастал своим богатым папашей и тремя кинотеатрами, которыми они владели в Усти, Дечине и Либерце.

— Ну, так садись, но повторяю тебе: все должно остаться между нами.

Пепи сделал обиженный жест, а Оскар начал говорить.

— Вы сами хорошо, знаете, зачем я вас созвал. Коллега Галчинский — единственный среди нас, кто не имеет опыта в этом деле: мы все перенесли сыпной

тиф в Варшаве и так много имели там с ним дела, что едва ли ошибаемся сейчас. Что скажешь, Шими?

Старый венгр погладил себя по румяным щекам.

— К сожалению, это так. Температура сорок — сорок один градус и все другие признаки. И миллионы вшей. [356] Новый транспорт насквозь завшивлен... Через пару дней появятся больные и среди старожилков.

— Остается одно, — сказал Оскар, сжав кулаки. — Просить капитальной дезинфекции и вакцины для прививок. Дезинфекция — дело несложное, и мы, очевидно, ее добьемся. Походная дезинфекционная установка поработает здесь два-три дня, и со вшами будет покончено на две-три недели. Второе посложнее и, наверное, не удастся: вакцина на две тысячи человек для них слишком большой расход. И все же мы должны безоговорочно требовать и того, и другого. А помимо всего, разумеется, карантин для всего лагеря. Иначе мы занесем тиф к Моллю, где работает больше десяти тысяч заключенных. Там они в контакте с гражданскими, так что эпидемия может перекинуться и в Мюнхен. Согласны?

— А как же я? — сказал Пеппи. — Завтра мне отсюда уезжать. Если вы переполошите всю округу, я застряну в карантине и до смерти не выкарабкаюсь отсюда.

— Вот что я тебе скажу, — Оскар наклонился к нему. — Мы должны были доложить коменданту о тифе еще сегодня утром. Но старый педант Шими просит еще сутки на диагностику, а я тоже хотел бы суточной отсрочки, но не для этого. По совести сказать, я боюсь, чтобы вы, зеленые, не застряли в лагере. Одиннадцать зеленых озверевут в карантине. Без шансов на уход, без возможности спекулировать они перевернут вверх дном весь лагерь. Поэтому пусть лучше завтра убираются подобру-поздорову, а потом мы начнем свое дело.

— Вот и хорошо, — нервно усмехнулся Пеппи. — А теперь скажи мне, что будет, если из этого призыва ничего не выйдет?

— Как так? Что ты дуришь? Это же верное дело.

— Не совсем, Оскар. Я только что был в немецком бараке. Писарь пришел туда из комендантуры и клялся, что рапортфюрер оказал ему: официально, мол, о призыве зеленых не получено ни строчки. Скажу вам — только это между нами, — ребята сразу стали решать, не лучше ли завтра же попроситься на внешние работы. Курить им уже нечего, в лагере скучища, а на стройке, говорят, можно раздобыть даже сало...

Старший врач переглянулся с коллегами, стараясь выяснить их мнение. Все лица были серьезные. Антонеску поднял свое римское чело. [357]

— Не может быть никаких отговорок. Мы — врачи, и наш долг сообщить, что началась эпидемия. И очень опасная. В Варшаве мы все видели, что такое тифозная эпидемия, а ведь это было в стране, где с ней привыкли бороться. Представьте себе, что будет в Мюнхене...

Шими-бачи пожал плечами.

-- Подохнет тысяча-другая немцев...

— Так нельзя рассуждать! — прервал его Оскар. — Константин прав, и мне

стыдно, что я хотел ждать еще сутки. Нам ясно, что это сыпняк, и мы утром доложим о нем в комендатуре. Вопрос решен.

\* \* \*

К ночи заключенные вернулись с внешних работ и хотели было идти прямо к кухне. Но у ворот разыгрались драматические сцены. Дело в том, что сегодня утром Копиц вызвал начальника охраны и сообщил ему, что уголь для отопления казармы не получен и пока не ожидается. Уголь надо добывать самим. А потому пусть-ка конвойные, перед тем как вести заключенных домой, поставят их где-нибудь поближе к угольному складу. Заключенные, конечно, начнут красть уголь, а конвоиры пусть закроют на это глаза. Вечером у ворот мы устроим обыск, проверим, что есть у каждого хефтлинк в карманах и за пазухой. Отнимать у них весь уголь не следует, иначе они завтра не пойдут воровать. Мы реквизируем у них две трети добычи. Одну — для папеньки-рапортфюрера, другую — для матушки-охраны, а третья пусть остается им. Так мы обеспечим топливо для казармы и для комендатуры. Verstanden?

Начальник охраны понял, и все прошло без сучка, без задоринки. Хефтлинки, правда, чертыхались, видя, что зря тащили на себе тяжелый уголь, но, когда конвойные все же оставили им кое-что, решили, что это лучше, чем ничего. По крайней мере, можно ночью хоть немножко протопить в бараках, а это очень важно, потому что все еще валит снег, и надежды на новую оттепель нет.

\* \* \*

Фредо вошел в контору и сбросил мешок, в котором носил казенные бумаги. Писарь еще не вернулся, и Зденек, воспользовавшись его отсутствием, тотчас спросил грека:

— Ну что, есть вести от моего брата? [358]

— Есть, у Гонзы Шульца, — ответил Фредо. — Сходи к нему. Нам с ним сегодня вечером еще надо в лазарет, к Оскару. Ты забеги туда и скажи, что мы придем после десяти, пусть Оскар ждет. Дело касается также и твоего брата, так что пошевеливайся.

Зденек выбежал на улицу и в потемках побежал вдоль очереди, которая растянулась от ворот до кухни. Он хотел вернуться в контору еще до прихода Эриха и усиленно вглядывался в лица стоявших в очереди, стараясь узнать Гонзу среди людей в мэфистофельских шапочках. Сегодня раздача еды шла быстрее: выдавали картошку в мундире, люди брали ее прямо в шапки, миски были не нужны.

«Зеленые» следили за порядком. Зденек со своей чудодейственной писарской повязкой проникал через все кордоны. Бывшие «терезинцы» следили за ним завистливым взглядом — ишь ты, уже вознесся! Но Зденеку было все равно, он шел вдоль рядов и шепотом справлялся:

«Гонза Шульц! Нет ли тут Гонзы Шульца?»

Ярда взял его за рукав.

— Мы здесь. А в чем дело?

— Здорово, Гонза! Говорят, у тебя есть новости для меня. Отойдем в сторонку.

— А ужин? — проворчал Гонза. Он так и не сбежал со стройки, ни вчера, ни сегодня. А кто виноват в этом? Вот этот чертов писарь и, главное, арбейтдинст Фредо. Они так прочно вплели Гонзу в новую организационную сеть, которая возникла на внешних работах, что ни о чем ином не приходилось и думать. И все же у Гонзы отлегло от сердца, он был теперь чем-то занят, у него появилась какая-то моральная опора. Но на Зденека он все-таки дулся.

— Я стою в очереди, — отрезал он.

— Брось, пойдем, — прошептал Зденек. — Я прежде припрятывал кое-что для Феликса, теперь могу отдавать тебе.

— Не надо мне никаких подачек, я получаю еду, как все, — проворчал Гонза. — Приходи ко мне в барак. А пока подождешь!

Ему было приятно нагрубить писарю и чувствовать при этом молчаливое одобрение соседей. «Ай да он! — говорили стоявшие в очереди. — Проминент к нему подмазывается, а он хоть бы что». [359]

— Дай мне хотя бы письмо, если оно у тебя есть, — скромно попросил Зденек.

Гонза неохотно сунул руку в карман.

— Не знаю, сможешь ли ты прочитать его. Когда нас обыскивали и отбирали уголь, мне пришлось сунуть эту бумажку в рот.

Зденек сжал в руке влажный листок.

— Спасибо. Так, значит, в бараке.

И он побежал, ему не терпелось прочитать письмо брата. Но прежде нужно было заскочить к Оскару.

Около лазарета толклись люди и лежали новые больные, которых товарищи принесли на плечах. В больничных бараках не хватало мест, и приходилось ждать, пока тотенкоманда унесет последних мертвецов. Похоже было, что за их места вот-вот начнется настоящая драка.

— Господин шеф! — раздался голос за спиной Зденека, и кто-то потянул его за полу. — Я тут принес порцию говядины под красным соусом, но никто ее не берет...

— А-а, Франтишек! — Зденек узнал старого кельнера из своего барака. — Что ты принес?

— Да вот, куснула меня у Молля машина. Я там занимался тем же, чем князь Сватоплук {23}, — сгибал прутья. Для железобетона, знаешь?

И Франта сунул под нос Зденеку свою правую руку, обмотанную окровавленным куском бумаги.

— Пальцы?

— Два — в кашу, остальным тоже досталось. Теперь мне уже не носить подносы.

— Зденек взял его под руку и повел к дверям лазарета.

— Туда — нет! — упирался Франта. — Оттуда нас только что выгнали палкой.

— Пойдем! — сказал Зденек и толкнул дверь ногой. В лазарете был только новый дантист. Узнав писаря, он спрятал палку за спину.

— Почему ты дерешься? — накинулся на него Зденек. — Этому человеку срочно нужна медицинская помощь.

— Во-первых, я никого не бил, — защищался тот. — А во-вторых, это не по моей специальности. [360]

— Вздор! Я тоже делаю вещи, о которых до лагеря представления не имел. Почему ты не помогаешь в лазарете?

— Старший врач не велел мне ходить в бараки, потому что я не болел тифом...

— Что-о?

Дантист спохватился, что разболтал секрет.

— Ничего... Старший врач распорядился... велел мне...

— Ты сказал — тиф, я хорошо слышал. Значит, у нас сыпняк?

— Нет! — соврал дантист.

Зденек не стал спорить.

— Быстренько перевяжи руку товарищу, это моя личная просьба.

— Охотно. А ты, писарь, забудь о том, что я сказал. Я...

— За дело, за дело!

Пока врач разматывал бумажный бинт и осматривал раны Франтишека, Зденек сел за стол Оскара и разложил на нем письмо брата. Вот так разочарование: это не почерк Ирки! Напряженное любопытство Зденека разом сменилось страхом: что в этом письме? Значит, Ирка уже не может писать и диктовал кому-то...

Зденеку вдруг вспомнился почерк Ирки. Ах, этот неровный, безобразнейший почерк! Зденек смотрел на письмо и, вместо того чтобы читать, задумался о каких-то давних временах и даже улыбнулся, вспомнив воркотню матери. Она гордилась своим непревзойденным почерком, — как четко она выводила основные и волосные линии каждой буквы! И как она огорчалась, что ни один из сыновей не унаследовал ее каллиграфического таланта. Даже у ее любимчика Зденека не было красивого почерка, он писал, как выражался отец, «галантным почерком», этаким разборчивым, округлым, деловитым — без характерности, которой гордился сам папаша, без каллиграфии, которой отличался почерк матери. Но, боже мой, как назвать закорючки нашего Ирки? Буквы вкривь и вкось, разномастные, несоразмерные... А ведь до чего умный был парнишка! Содержание того, что он писал, было ясно, точно, доходчиво... но что за почерк! А тетрадки! Жирные пятна, кляксы, ослиные уши. Зденек тоже не отличался особенной аккуратностью, но все же красивые синие обложки для тетрадок, которые они [361] получали от отца перед началом занятий, сохранялись у Зденека до конца учебного года. У Ирки они были в лохмотьях уже к концу первого семестра. Мамаша горевала, а папаша качал головой. И что из тебя будет, несчастный? Ногти у тебя в чернилах, шея... э-э, ты сегодня опять не мыл шею?

С нежностью и мучительным беспокойством Зденек наклонился над столом и заставил себя прочитать записку на влажной бумаге, которую чужая рука написала карандашом.

«Дорогой брат, твоя записка и подарок меня очень обрадовали. Я чувствую себя не

очень хорошо, но, наверное, еще выдержу. То, что ты сообщаешь о маме, я уже знаю. Здесь есть кое-кто из знакомых, они мне многое рассказывали и хвалили тебя. Говорят, ты в Терезине был молодцом, я рад этому. Продолжай в том же духе, держись, давай о себе знать. Твердо надеюсь, что еще увижу тебя. И Прагу тоже. А больше всего меня радует дядя Пепик [\[24\]](#). Привет!

Иранек».

Зденек поднес письмо поближе к глазам. Буквы подписи шли вкривь и вкось, их явно писал сам Ирка! И подписался он своей старой комсомольской кличкой, это тоже не случайно: ведь они вместе состояли в комсомоле. Намек на Сталина тоже свидетельствовал о том, что письмо было не только от брата к брату, но и от товарища к товарищу. «Говорят, ты в Терезине был молодцом, я рад этому»...

Зденек сунул письмо в карман и повернулся к врачу, склонившемуся над изувеченной рукой Франты.

— Мне нужно идти, доктор. Передай Оокару, что после десяти я приду с арбейтдинстом Фредо. А этого пациента по возможности поместите в лазарет. Он хороший парень и из моего барака.

\* \* \*

В кухне шла генеральная уборка, в ней участвовало уже не только двенадцать девушек, как в ту роковую [362] ночь. «Татарка» Като и другие не угодные Юлишке девушки после одного дня на внешних работах были возвращены в кухню. Они обнаружили, что их капо стала еще хуже, чем была. С того вечера, когда она провела часы воздушной тревоги на койке Лейтхольда, — правда, в одиночестве, — Юлишка держалась так, словно и на самом деле стала супругой эсэсовца, а кухня — ее собственной вотчиной. Сама не понимая почему, она очень легко вживалась в новую роль. Может быть, потому, что у них дома была когда-то сходная ситуация. Отец, замкнутый, застенчивый, слабохарактерный человек, по годам намного старше матери, держался так, словно он все время извинялся за свое существование на свете. Бразды правления фабричкой взяла в свои руки его супруга. Эта пышная, привычно кокетничающая красотка верховодила всем, сохраняя видимость полной преданности мужу. Ей нравилось управлять, работать, распоряжаться, и вместе с тем она считала себя жертвой. Разве она не губит нервы, молодость и красоту ради того, чтобы обеспечить себя и дочь и поддерживать весь этот опротивевший, но необходимый «приличный образ жизни»?

«Ужасная жизнь! — жаловалась она иногда маленькой Юлишке. — Но как бы мы иначе жили?»

Сейчас властительнице лагерной кухни тоже казалось, что лишь ценой неутомимой деятельности, строгости с одними и кокетливого выпячивания бюста перед другими можно сохранить уже не какой-то «образ жизни», а саму жизнь вообще. И Юлишка пружинистой походкой прохаживалась по кухне, похлопывала палкой по руке, покрикивала на девушек. С Лейтхольдом она держалась нежно, почтительно, щурила глаза, щебетала «битташон» и умела вовремя пришить кюхеншефу оторвавшуюся пуговицу. Всем остальным мужчинам («мусульмане», разумеется, не в счет) она бросала равно многообещающие и безличные взгляды и в общем была живым олицетворением того, что называется «чардашевый темперамент».

Парочка венцев, которые хаживали к писарю за подачкой, перестали исполнять

песенку «Мамочка, купи мне лошадку» и сегодня впервые выступили в немецком бараке с программой под названием «Наш новый номер». Один из них повязал на голову женский платочек, подложил под курткой карикатурный бюст, навел углем [363] глаза и, помахивая палочкой, напевал шлагр {25} из кинофильма Марики Рокк:

Ах, в моем горячем сердце,  
Как огонь, пылает кровь,  
Видно, в сердце много перца,  
Горяча моя любовь!

Второй комик изображал самого себя — жалкого, ушастого «мусульманина» в мефистофельской шапочке. Он подхватывал плаксивым тоном:

Ах, в моем убогом сердце  
Кровь нечистая течет,  
Неарийцу здесь несладко,  
А арийцу здесь почет!

Капо и другие немецкие проминенты валились с ног от смеха и заставляли остряков несколько раз повторять куплет о «номере с перцем в неарийской крови».

4.

Кто-то из заключенных нашел на стройке карманное зеркальце, и инженер Мирек купил его за краюху хлеба.

— Ты просто спятил, — бранил его Рудла, узнав об этом. — Старый урод, женатый человек, отец семейства, и вздумал отдавать калории за такую безделку!

Зеркальце было круглое, в розовой целлулоидной оправе, с рекламной надписью на оборотной стороне: «Мое любимое местечко — «Аде-бар» в Мюнхене, Принцрегентштрассе, № 8!» Внизу было крохотное изображение аиста.

Вечером Мирек сидел на нарах под электрической лампочкой, ни с кем не разговаривал и, тщательно протерев зеркальце рукавом, долго гляделся в него.

Ярда стал рассуждать вслух.

— Говорят, что женщины тщеславны. Куда им до стареющих мужчин! Я в этом убедился еще в портновской мастерской. Мне, например, никогда не случалось видеть, чтобы клиентка рассматривала в зеркале свои старые зубы вместо того, чтобы глядеть на новое платье. А мужчины совсем другое дело. Поставишь его перед трюмо, и он глядит в него, как загипнотизированный, [364] даже не замечает, что я на нем примеряю, все изучает самого себя. Видимо, от непривычки к тройному отражению каждый из них не сводит глаз со своего профиля, величественно задирает голову — чтобы исчез второй подбородок, — поправляет рукой лохмы за ухом, с содроганием глядит на лысеющее темя. Потом, заметив у себя брюшко, пытается подтянуть его. Мужчины, я вам скажу...

— И охота тебе болтать, — прервал его Рудла. — Был бы тут кельнер Франта, уж он спел бы тебе песенку «Ярдочке дали болтанку на сладкое...»

— Весельчак Франта! — вздохнул кто-то в углу. — Каково-то ему там, бедняге?

— Зденок устроил его в лазарет. Я у него был, ему там неплохо, — проворчал Мошек.

Стало тихо, и лишь иногда кто-нибудь из обитателей барака подталкивал соседа, чтобы показать на Мирека. Тот все еще сидел посреди барака, под лампочкой, и разглядывал себя в зеркальце. Впервые за несколько месяцев он увидел в этом чудесном стеклышке часть своего лица. Серая, нездоровая, словно опухшая кожа, шелушащаяся, вся в крупных порах. Из всех морщин торчит щетина, и в ней так много седых волосков...

Мирек покачал головой, огрубевшими пальцами пощупал щетину и уставился на свои губы. У них тоже был неутешительный вид — бескровные, растрескавшиеся, горько поджатые, а над ними заострившийся нос с грязью, въевшейся в кожу... Мирек перевел взгляд выше и обнаружил самое удивительное: собственный глаз. Сколько красных жилок пронизывает синеватый белок! Коричневая в зеленоватых крапинках радужница кажется ужасающе живой, она сжимается, когда на нее падает зайчик от зеркальца, она похожа на кожу какого-то моллюска. А в середине виднеется бархатная мишень, черное бездонное отверстие, через которое Мирек ненасытно созерцает самого себя. Вот это я, заключенный лагеря Гиглинг, твердит он. Это я. Все еще я...

Тишину нарушил Гонза, который за несколько минут до десяти часов открыл дверь и заглянул в барак.

— Гостям вход запрещен! — закричал из глубины барака блоковый, разевая рот, как карп. — Что тебе надо, мусульманин?

— Ничего, — сказал Гонза. — Сейчас ухожу. Ярда, поди-ка на минуту. [365]

— Смотри, возвращайся до того, как погасят свет! — погрозил Ярде блоковый и исчез за занавеской. Ярда вышел из барака.

— Слушай внимательно! — шепнул ему Гонза. — Для тебя есть деликатное задание. Мы узнали, что главная кухарка, знаешь, та, что дерется, будет заказывать себе брюки. Арбейтдинст Фредо хочет, чтобы их сшил кто-нибудь из наших. Во-первых, это хороший заработок, во-вторых, можно узнать что-нибудь об этой стерве. Я сказал ему, что в моей бригаде есть портной. Завтра утром скажись больным, Фредо устроит, чтобы тебя оставили в лагере. Пойдешь на кухню и скажешь Юлишке: «Меня прислал арбейтдинст, у меня был первоклассный портновский салон в Праге». Понятно?

Ярда кивнул.

— И никому ни слова. Завтра вечером я зайду к тебе узнать, как прошло дело. Пока!

\* \* \*

Ночной разговор с Оскаром был бурным. Фредо и Зденек уселись в лазаретном бараке, у входа, остальные врачи уже спали, Пепи еще был у своих приятелей немцев. Оскар зажег огарок свечки и шепотом поздоровался с пришедшими.

Фредо рассказал, что в соседнем лагере «Гиглинг 5», с которым ему удалось наладить связь на внешних работах, страшная теснота. На ведущих местах там наши, — сказал грек. — У них есть некоторое влияние на комендатуру, и они, вероятно, смогут устроить, чтобы часть больных из их лагеря перевели в «тройку», то есть к нам. В «Гиглинге 3» есть свободные места для сотни-другой человек, да и лазарет здесь в лучших руках, чем там. (При этих словах Оскар насмешливо

поклонился.) Если сюда к нам прибудет партия больных, Оскар сможет выпросить еще несколько бараков под лазарет. Кстати говоря, среди больных — брат Зденека. Партийное руководство в пятом лагере считает, что ему и другим товарищам будет лучше у нас. Можно рассчитывать и на Зденека, который занимает видное положение в конторе. Оно еще укрепитя, если Эриха Фроша возьмут в армию. Не исключено, что при такой головке лагеря, как Оскар и Зденек, весь «Гиглинг 3» со временем будет преобразован [366] в лазарет. Заключенных не будут гонять на работу, и сюда переведут больных из всех гиглингских лагерей...

Оскар выслушал Фредо с удивительным терпением. Он, правда, несколько раз поднял брови, особенно при словах «хороших ребят, которые сейчас болеют», почувствовав тут явный политический привкус, но промолчал, а потом сделал жест, как бы зачеркивая все планы арбейтдинста.

— Ничего не выйдет. То, что вы придумали, выглядит неплохо, но я вам скажу правду: у нас в лагере сыпняк, и это меняет все дело. Утром мы доложим рапортфюреру, что от тифа уже умерло восемнадцать человек, а еще три десятка лежат с тифом. Шими-бачи установил это. Лагерь придется изолировать, а не пополнять его, как вы хотите. Сюда никого нельзя допускать, ни больных, ни здоровых, пока мы не избавимся от вшей — переносчиков заразы.

Сообщение о тифе не произвело на Фредо такого впечатления, как ожидал Зденек.

— Сыпняк? — сказал он. — Ну и что же? Сколько раз вы уже говорили, что он неизбежен: вшивость, транспорты из Освенцима, — рано или поздно быть тифу. И вот в лагере тиф. Не терять же голову? Ты, Оскар, все страшно упрощаешь. Пойдем, мол, к нацистам, доложим им об эпидемии, и пусть они делают все, что нужно. Ты всерьез думаешь, что, узнав о тифе, они не погонят нас завтра на работу?

— Это невозможно! — Оскар вскинул голову.

— А что было в Варшаве? Там ведь был сыпняк...

— В Варшаве мы были стадом заключенных среди развалин вражеского города. Немцев не тревожила наша судьба или судьба поляков в окрестностях лагеря. Здесь совсем другое дело: мы живем возле Мюнхена, а Молль строит важнейший военный объект. Не пойдут же они на приостановку этих работ только из-за того, что на «Гиглинг 3» не был своевременно наложен карантин.

Фредо обнял Оскара за плечи и понизил голос.

— Можно думать, что ты не видел своими глазами этой стройки. Каждому зрячему ясно, что дело там не ладится, что это вообще не серьезная затея, а только так, видимость работы. Понятно? Никто не станет приостанавливать ее. Если даже половина узников перемерет, [367] у Молля все будет идти по-прежнему. Из-за сыпняка стройка не остановится ни на один день.

— Я тебя не понимаю, — хмуро сказал Оскар.

Фредо усмехнулся.

— Ручаюсь, что завтра мы пойдем на работу. Ты доложишь об эпидемии, и ничто не изменится. Держу пари!

— К чему пари? Мы просто не смеем идти на стройку!

— Ты — доктор, Оскар, и хороший доктор. Мне ты твердишь, что я только политик. Теперь ты увидишь, как политика возобладает над медициной. К сожалению, политика, направленная против нас. Немцы заставят нас работать, что бы там ни было. Мы все перемрем! Пусть! Но пока мы живы, они не посчитаются ни с чем. Администрация стройки заинтересована в том, чтобы она продолжалась. Копиц, разумеется, тоже хочет, чтобы мы работали, о Дейбеле я уж не говорю. Знаешь ты, кстати, что он уже нашел себе нового ставленника, Мотику, и тот спекулирует для него золотом на стройке? Дальше: даже такая мелкота, как конвойные, заинтересованы, чтобы мы работали, иначе они останутся без угля для своей казармы. А если на лагерь будет наложен карантин, большинству из них не миновать фронта. Так?

— Я не политик, мне до всего этого нет дела. Я выполню свой врачебный долг...

— Не ребячься, Оскар! Что важнее — твой врачебный долг или судьба людей? Политике надо противопоставить политику. *Нашу* политику, политику подполья, тоже вполне действенную, если мы все ее поддержим. Давай-ка проведем это дело с пятым лагерем, они пришлют к нам сюда своих больных, и мы тогда в самом деле сможем изменить характер лагеря...

— С ума ты сошел? — вскочил врач. — Хочешь в тифозный лагерь принимать новых людей?

— Вши есть всюду. Если тифом болеют у нас, будут болеть и в других местах. Может быть, вы обнаружили тиф раньше других, а может быть, и в других лагерях уже знают о нем, но боятся сказать немцам, чтобы не угодить в газовую камеру. Вот как обстоит дело.

— Вздор. Пусть в других лагерях будет хоть чума, на то там есть врачи, чтобы они распознали ее и приняли меры. А что касается нас, то из нашего лагеря завтра [368] никто не пойдет на работу. И сюда к нам тоже никого нельзя пускать. Покойной ночи!

— Оскар, послушай, ничего у тебя не выйдет. Не лучше ли добиваться превращения нашего лагеря в лазарет окольным путем, как предлагаю я? Согласись на то, чтобы я завтра сказал людям из пятого лагеря...

— Как врач, я не могу на это согласиться, даже если бы хотел. Еще раз — покойной ночи!

\* \* \*

Но ночь была беспокойной. Около полуночи начался воздушный налет; гул самолетов был оглушительнее, чем обычно, бомбы падали чаще, в окнах звенели стекла.

Хорст выскользнул из конторы и, пригнувшись, побежал к забору женского лагеря. Но он оказался там не первым: за клозетным баракком, скрытый от взглядов часового, уже стоял Диего Перейра и разговаривал с маленькой Като.

— Пардон, коллега, — галантно сказал Хорст, — разреши попросить твою даму об услуге? Вы не вызвали бы сюда Беа?

Скуластая девушка молча кивнула и побежала к бараку.

Диего не начинал разговора.

— Сигарету? — галантно обратился к нему Хорст. Он был из того сорта людей, что не теряются в любой обстановке, если у них есть в кармане портсигар и безотказно работающая зажигалка, которые можно открывать и защелкивать эффективным жестом кинематографического сыщика.

Диего не отказался.

— Grazie, — поблагодарил он и наклонился к огоньку зажигалки. — Организовал курево на стройке?

— А где же еще, могильщик? У твоих голых покойников сигарет не найдешь. Но эти у меня последние. Самое время завтра уезжать.

— Под бомбы? — испанец кивнул в сторону Мюнхена, где на фоне низко нависших туч виднелось зарево пожаров.

«Не следовало бы мне тут вести разговоры с этим коммунистом», — подумал Хорст, но вслух сказал: — Пока что еще ничего не известно, насчет призыва не было приказа. Мы опять собираемся на стройку. [369]

Диего кивнул большой головой.

— Ах, вот как! Никст воевать? А выдержишь ты тут, so ein grosser Patriota?

— Не патриота, а патриот, — поправил Хорст, сдувая пепел с сигареты. — «Патриот» склоняется, как «идиот» и тому подобное. Понятно? Никак ты не научишься правильно говорить по-немецки!

— Я бы выучился, если бы на нем сейчас велись умные речи, — усмехнулся Диего.

— А словам Гитлера — грош цена. Может быть, и тебе не мешало бы научиться какому-нибудь языку, например венгерскому.

«Не надо было мне ввязываться в разговор с ним, — сказал себе Хорст. — Уже начинает меня агитировать. А впрочем, это неплохая идея — не терять Беа из виду после войны. Такое знакомство может быть полезно в первые, самые трудные дни...»

Като вернулась. Вслед за ней уже бежала стройная Беа. Она прижалась к забору и поцеловала Хорста в выпяченные губы под щегольскими усиками: пусть Като видит! Все равно она будет меня честить, так по крайней мере не за выдуманные грехи.

Като оперлась о забор чуть подальше, глядя только на Диего. Ей было стыдно за соотечественницу, и она искала какую-нибудь нейтральную тему, чтобы продолжать разговор.

— Вы курите? — шепотом спросила она. Испанец тоже смутился и поддержал эту тему.

— Вам это не нравится? Курево — единственная вещь, которая одинакова и в лагере и на свободе. Поэтому мы все курим. Э-э нет, погодите, — вспомнил он. — Я знаю одного, что не курит. Это Фредо.

— Тот самый грек?

— Товарищ! — настойчиво поправил испанец. — Он хороший человек, хотя немного чудак. Например, с курением. А меня он ругает анархистом.

— А разве вы не анархист? — Като сделала круглые глаза.

— Я? — Диего прижал руку к груди и обиженно посмотрел на нее. — Это все, видно, потому, что обо мне рассказывали, как я в монастыре на Гвадераме... А впрочем, лучше не говорить вам об этом. А то вы всерьез подумаете...

— Расскажите! [370]

— Не стоит! — он покачал головой. — А Фредо прав, хотя иногда он перегибает. Например, в Буне он не позволил мне поджечь бочки с бензином... а как потом сам обрадовался, когда... Только вы об этом никому не говорите, ладно?

— Какие такие бочки? И что такое Буна?

Он улыбнулся.

— Хорошо, что вы не знаете. По крайней мере скорее забудете.

Като обиженно вскинула голову, а Диего прошептал:

— Не думайте, что я вам не доверяю. Наоборот. А насчет этих дел я нарочно упомянул, чтобы вы поняли, что они иногда бывают нешуточные.

— А вы думаете, меня интересуют только шуточки? Я пришла потому, что вы пообещали...

— Только потому?

Он прижался к забору, но Като тотчас отодвинулась. Рядом тихо хихикала Беа.

— Да, только потому, — повторила Като. — Хватит с меня того, как ведет себя вот эта. А что вытворяет в кухне Юлишка. Не скажу, что я совсем не думаю о мужчинах. Но когда я вижу этих шлюх, то каждый раз клянусь себе...

— Потихе! — предостерег ее Диего. — Порядочные девушки тоже встречаются с мужчинами и даже выходят за них замуж.

— В более подходящее время. Сегодняшняя ночь для этого определенно не годится. Говорите, что вы мне хотели сказать, и я пойду.

Диего рассказал ей о разговоре с Вольфи и Фредо. Кухня должна приложить все силы, чтобы улучшить питание заключенных, должна заботиться о том, чтобы продукты не крали и каждый получал законную порцию. Посуду нельзя раздавать по баракам; посоветуйте кюхеншефу каждый день делать проверку в бараках после ухода людей на работу. Посуда должна быть в кухне, это ускорит раздачу еды, и люди раньше пойдут спать. Надо поговорить с Лейтхольдом о том, нельзя ли выдавать ужин и во время воздушной тревоги, при свечке, или заканчивать раздачу после отбоя. Девушки, работающие в кухне СС и в казарме, пусть прислушиваются ко всем новостям, а также стараются стащить старые газеты и принести их в лагерь. Диего и его товарищей интересует [371] точная численность охраны, какие в ней происходят изменения, каково настроение солдат. И, наконец, такие девушки, как Като и Илона, должны позаботиться о том, чтобы в женском лагере не было ссор и склок, чтобы никто не терял надежды и коллектив сумел заставить всех без исключения подчиняться его решениям. В частности, и Юлишку. Надо ей внушить, что война не продлится вечно. Если она сейчас спасает себя ценой вражды с коллективом, то это потом выйдет ей боком. У нее есть некоторое влияние на Лейтхольда, надо это влияние использовать. Но Юлишка должна понять, что товарки следят за ней и что она не избежит кары, если будет подличать.

— Ну, не хватит ли на сегодня?

— Да, пожалуй, — Като перевела дыхание, улыбка на ее лице сменилась сосредоточенным выражением. — Погодите, я быстренько все повторю. Значит, первое...

Было холодно, падал снег, но обе пары упорно не отходили от забора. У Хорста и его девушки пылали щеки, они строили фантастические планы на будущее и целовались все жарче.

Вдруг что-то прервало их воркование — в темном проеме дверей женского барака появилась стройная фигура. «Кис-кис, кис-кис!» — настойчиво звала она.

Като и Беа обернулись.

— В чем дело, Иолан?

Перепуганная секретарша выбежала в одной рубашке, она не ожидала, что встретит в темноте кого-нибудь.

— Она убежала... Вы ее не видели?

Все стали смотреть по сторонам. Като показала в сторону ограды.

— Вон там что-то виднеется. Только берегись, чтобы тебя не заметил часовой с вышки.

Иолан, не раздумывая, побежала в ту сторону. В самом деле, какой-то темный комочек подкатился ближе к ограде.

— Стой! — крикнула Като. «Боже!» — ахнула Беа. С вышки гаркнул голос: «Was ist denn los?» <Эй, в чем там дело? (нем)>.

Иолан была уже около самой ограды, но котенок карабкался вверх по столбу. «Кис-кис!»-позвала девушка.

Вдруг послышалось шипение, словно раскаленное [372] железо погрузилось в воду. Иолан закрыла глаза руками, ноги у нее подкосились, и она упала в снег. Часовой на вышке включил прожектор и, пошарив лучом, навел его на лежавшую в снегу девушку. «Стой! Назад! Буду стрелять!» — закричал он в темноте, которая теперь казалась еще непрогляднее.

Като вбежала в круг света, подняла руки.

— Bitte, nicht schiessen! <Не стреляйте, пожалуйста! (нем.)> Эта девушка в обмороке. Мы унесем ее. Беа, быстро!

— Я держу вас на прицеле, так что без глупостей. Los!

Като уже ухватила товарку за плечи, Беа, осмелев, подбежала и взяла ее за ноги. Луч прожектора проводил их до двери и погас, только когда три девушки исчезли в землянке.

В тени высокого барака Хорст прошептал испанцу:

— Как ты думаешь, она прибежит сюда еще раз?

— Едва ли, — проворчал тот. — А завтра утром устрой, чтобы комендатура на минуту выключила ток. Если мы этого котенка не снимем с проволоки, наши девушки с ума сойдут.

\* \* \*

Да, это была недобрая ночь. Бомбежка кончилась, огни на ограде зажглись, ветер стих, но людям в занесенном снегом лагере спалось плохо. У сотен узников была лихорадка, она захватила их, как бурный поток. Иногда спящие блаженно улыбались, хотя этого никто не замечал. Им слышался серебряный смех, им казалось, что они уже умерли. «Как мы вас провели! — И они показывали язык докторам своего детства и всему миру. — Мы провели вас, мы умерли, ха-ха!»

Сиплое дыхание слышалось в бараке. «Это дыхание лагеря, я сторожу дыхание лагеря», — твердил себе Зденек, ворочаясь с боку на бок. Ему не спалось. Он еще здоров, он еще не заразился тифом, но Оскар сказал, что это никого не минует... Эпидемия сыпняка захватит всех, ни у кого нет иммунитета, кроме тех, кто уже переболел. Тиф разносят вши, большие вши. Они сами заражаются от больного и умирают, но прежде переносят тиф на людей. Наши судьбы связаны с этими насекомыми, мы умираем из-за них, а они из-за нас. Написать бы сказку — [373] старая вошь наставляет молодую: «Избегай дурного общества, не ходи к людям, еще заразишься»...

Нет, это плохо, это ведь не сказка о животных, а сказка для животных. А почему бы в самом деле не написать книжку сказок для животных? Чтобы было все наоборот... Например, старый вол рассказывает: «Жил однажды человек, который умел мычать по-нашему»... — «Что ты, дедушка, — вмешивается теленок. — Люди же не умеют мычать, как мы», — «Не спорь, мальчишка, — обрывает его старый вол. — В сказке все возможно...» Ну, хватит, какие там сказки для зверей, ты же не писатель, не лезь в чужое ремесло! Юная Иолан ждет от тебя фильм. Уж если писать, напиши сценарий. А как его начать? «На голой ладони края лежит лагерь...» Бр-р-р, это еще похуже сказки для животных! Долой литературщину, нужны факты, документальность! «Полоса грязи среди леса, на ней лагерь. Ограда с током высокого напряжения, низкие крыши бараков, ночь». Это неплохо. Начну с ночного пейзажа. «Снеговые перины покрыли темные треугольники крыш...» Перины? К черту банальные образы приятных вещей, здесь им не место. Пиши, оскалив зубы, сурово, зло... Нет, это не годится, так начинать нельзя. Беспощадная точность придет потом, когда возникнет общая картина и можно будет давать оценки. Вначале должен быть хаос, мрак. Изнуренные люди, шатаясь, выходят из освещенного транспорта.словно их случайно уронили с лопаты, на которой уже несли к жерлу газовой печи. Им еще суждено катиться куда-то и жить.. Волчий туман вначале, волчий оскал в конце. Это неплохо. Завтра начну писать... Щеки у меня горят. Может быть, уже... Нет, я не умру от тифа, у меня слишком много дел. Надо позаботиться об Ирке, и все прочее. Фредо, Гонза, картотека живых и, наконец, сценарий. Должен же кто-то написать его. «Когда вы выйдете на свободу, у вас все уже будет готово», — предсказала юная венгерка, и глаза у нее блестели...

\* \* \*

...Все это время Иолан была рядом со Зденеком. Не в действительности, а в туманных видениях ее сна. Зденек казался ей единственным настоящим человеком: ведь он сделает то, о чем она только мечтала. Ей хотелось быть ближе к нему, ближе... но лихорадка гнала ее куда-то, [374] мерещилась плетка Россхауптихи, плетка била до крови, чужое хриплое дыхание вокруг напоминало о жутком шипении живого мяса на проволоке ограды. Иолан вскрикивала во сне. Като, склоняясь к ней, поправляла одеяло и утирала ей пот со лба.

Като бодрствовала. Руки ее машинально делали нужные движения, а в мыслях были шесть заданий Диего. Первое — сносная еда для заключенных и честная выдача порций, второе — посуду держать в кухне и изымать из барачных, третье — новости и газеты из казарм СС, четвертое — узнать численность охраны, пятое — коллектив и не спускать глаз с Юлишки, шестое — добиться через нее у Лейтхольда раздачи еды и во время тревоги. Всякий раз, когда Като доходила до «в-шестых», в голову ей лез — в-седьмых, в-восьмых и в-девятых — сам Диего. Вот он стоит перед ней, смущенно улыбаясь. Он понравился ей еще в тот раз, когда выносил мертвую девушку из барака. Нервические подружки тогда шептались: «Если он и меня так понесет, умереть не страшно...» Но с тех пор прошло немало времени, транспорт и Освенцим ушли в прошлое. Кто сейчас станет думать о смерти? Не отраднее ли сказать сейчас себе: «Если он меня вот так возьмет в объятия, не страшно жить!»

Диего спал крепко, как всегда. Утомленный тяжелым днем, он упал на стружки, как камень в воду. Во сне его голова казалась еще более угловатой, глубокие морщины залегли у сурового рта. Он был похож на судью, который в минуту глубокого раздумья прикрыл глаза. Вот он откроет их и произнесет приговор... И этот приговор обжалованию не подлежит.

5.

В четверг утром, на переключке, «зеленые» немцы попросились на работу. Дейбель, ехидно подмигнув, включил их в рабочие команды. Это было первое событие нового дня.

Фредо и Вольфи стояли рядом, переглядывались и думали про себя: стало быть, долгожданный приказ из Дахау об отправке уголовников на фронт так и не пришел. Что это значит? Может быть, положение на фронтах настолько благополучно, что гитлеровская армия предпочитает обойтись без такого сомнительного подкрепления? [375] Или, наоборот, оно уже так безнадежно, что и пополнение ни к чему? Или за всем этим ничего не кроется, а все дело просто в какой-то служебной проволочке, и приказ из Дахау придет завтра или сегодня к вечеру?

Вольфи пожал плечами — кто знает; Фредо махнул рукой — мол, к чему зря ломать себе голову?

Но в этот момент произошло событие, которое разом привлекло всеобщее внимание. В сопровождении писаря Эриха в ворота вошел Копиц с фарфоровой трубочкой в зубах. Тотчас же через апельплац навстречу ему побежал старший врач Оскар, который, видимо, ждал этой минуты. Он вытянулся перед рапортфюрером. Тот перестал усмехаться.

— Что тебе надо?

— Разрешите подать чрезвычайный рапорт.

— А почему не через писаря? Это что еще за новости?

— Писарь отказался взять меня с собой в комендатуру. Речь идет о...

— Значит, имел основания. Эрих!

Писарь с папками под мышкой стоял в пяти шагах от рапортфюрера. Теперь он почтительно подошел ближе.

— Слушаю, герр рапортфюрер.

— Ты знаешь, что хочет мне сказать старший врач?

— Да. Разрешите доложить, что это пустое дело.

Оскар сделал негодующий жест, но тотчас опять вытянул руки по швам.

— Писарь не врач и не понимает этого, — заговорил он. — Дело в том, что в лагере возникла...

— Молчать! — Копиц с угрожающим видом шагнул вперед.

Доктор замолк. Рапортфюрер опять повернулся к писарю.

— Выслушать его, как по-твоему?

Все это была заранее условленная игра. Копиц отлично знал, о чем хочет доложить ему старший врач. Писарь позаботился своевременно информировать рапортфюрера. Но сейчас тот же писарь хладнокровно ответил:

— Я полагаю, что это излишне. Старший врач хочет доложить вам о каком-то своем предположении. Если бы такое предположение возникло у настоящего немецкого врача, оно, быть может, заслуживало бы внимания комендатуры. Поскольку же это не так, нет оснований... [376]

Копиц снова усмехнулся и хлопнул писаря по плечу.

— Ишь, как изысканно ты выражаешься! Словно и вправду был колбасником в Вене! Ладно, последую твоему совету, — и он резко сказал Оскару. — Я не против еврейских лекарей, когда они заботятся о здоровье своих единоверцев. Но диктовать мне они не будут. Я вообще не намерен разговаривать с тобой. Если ты еще раз посмеешь обратиться ко мне через голову писаря, получишь двадцать пять горячих. Проваливай!

Секунду Оскар колебался. Закричать во всеуслышание, что в лагере тиф? Но чего он этим добьется? Разве того, что его избьют или пристрелят. Среди заключенных такое заболевание вызвало бы ненужную панику, а Копиц все равно будет гнуть свою линию. Нет, такая открытая демонстрация сейчас ни к чему. Оскар повернулся и пошел на свое место.

\* \* \*

После ухода рабочих команд к Моллю произошло третье, самое знаменательное событие этого утра; произошло оно, разумеется, без свидетелей. Рапортфюрер поступил совершенно необычно: он вошел в лазарет, выставил оттуда всех врачей и оставил только Оскара.

— Ну, так как, старший врач? — усмехнулся он почти дружески.

Доктор Брада стоял навтыжку у стола, не зная, что ответить.

Рапортфюрер зажег погасшую трубку.

— Тебе, конечно, ясно, что я все знаю: сыпняк и так далее. Эрих сказал мне.

Оскар не шевелился.

— Не думай, что я отношусь к этому не серьезно. Я уже немало помыкался по лагерям, порядком устал и не хотел бы снова собирать пожитки. Уж лучше дослужу здесь. А впрочем, что говорить, ты ведь сам знаешь, что я всегда помогаю,

как могу, лазарету и всем вам. Вспомни хотя бы историю с Янкелем: не приходило тебе в голову, что для тебя она могла бы кончиться виселицей? А кто спас лагерь от мести за Пауля? То-то! А ты вдруг выкидываешь черт знает какую глупость, пытаешься во всеуслышание заявить мне, что в лагере тиф. Писарь, возможно, сделал ошибку, что не взял тебя в комендатуру. Но он побоялся. Я не хотел разговаривать [377] с тобой при нем, поэтому я не вызвал тебя сейчас в контору, а пришел к тебе сам. Здесь ты можешь высказаться откровенно.

— Вы все уже знаете. В лагере тиф. Посылать сейчас людей на внешние работы было бы... безответственно.

— Спокойно, спокойно! — Попыхивая трубочкой, Копиц сел на койку. — Я сегодня же позвоню в Дахау и попрошу СС-штурмбанфюрера Бланке, нашего окружного врача, приехать, поглядеть, в чем дело. Он ответственное лицо, а не я и, во всяком случае, не ты. Что еще?

Оскар был немного сбит с позиций.

— Вы в самом деле хотите доложить в Дахау? Почему же в таком случае вы были против того, что я пришел на апельплац с рапортом.

— Уж если еврей глуп, то глуп как пробка! — засмеялся Копиц. — Ты собирался доложить мне, что в лагере тиф. Но кто тебе сказал, что я намерен именно так информировать Бланке?

— Что же вы ему скажете?

— Об этом я и хочу с тобой посоветоваться. У нас есть больные с высокой температурой, не так ли?

— И вшивость. Все признаки тифа. Если герр Бланке врач, он без труда...

— Ага, вот видишь, у тебя уже прояснилось в голове. Если герр Бланке врач... А кто знает, хороший ли он врач? У тебя в Варшаве была большая практика с тифозными, ты-то разбираешься сразу. А есть такой опыт у Бланке?

— Любой врач поймет, в чем дело. Военное время, завшивленный лагерь...

— Не волнуйся. Может быть, мы к нему несправедливы и он сразу разберется. Но кто тебе сказал, что он сразу же зафиксирует все это на бумаге?

— Если он не сделает этого...

— Что тогда? А если у него такие указания?

Оскар даже рот раскрыл.

— Тиф — это смертельная опасность для всего края. Рядом Мюнхен...

— Вот что я скажу тебе, доктор: тебе, видно, очень хочется в газовую камеру. Если тебя послушать, так для «Гиглинга 3» нет другого выхода, кроме как погрузить всех хефтлинков в вагоны и везти их обратно в Освенцим. [378]

— Вы знаете, что я не хочу этого. Разве нельзя бороться с тифом! Достаточно дезинфекции, карантина и прививок. Вам самому сделали прививку в Варшаве, и, хотя вы не болели тифом, вы теперь не боитесь войти в лагерь...

Копиц усмехнулся.

— Я, к твоему сведению, не боюсь ничего. Я эсэсовец.

Оскар опять выпрямился. «Не боишься, потому что в крови у тебя антитифозная вакцина, которую открыл медик еврей», — подумал он и, не сдержавшись, возразил довольно неразумно:

— Нет, и вы иногда боитесь, герр рапортфюрер. Например, меня. Вы могли уже сто раз повесить меня, но не сделали этого.

— Если бы ты боялся кого-нибудь и имел возможность повесить его, разве ты не сделал бы этого? Например, меня, а?

Оскара молчал.

— Стало быть, я не так уж боюсь тебя, как ты думаешь, — насмешливо сказал Копиц. — Или я сохраняю тебе жизнь, чтобы не бояться?

— Просто вы помните о том, что конец войны близок...

— Молчи, олух! Я эсэсовец. Мы выиграем эту войну, уж против жидов-то во всяком случае. Для этого у нас хватит сил. Для этого достаточно парочки таких молодцов, как Дейбель. Так что не дури и ни на что не рассчитывай. Но то, что я изрядно устал и охотно не покидал бы Гиглинга, это тоже факт. Мне дано указание посылать отсюда людей на внешние работы, и я охотно буду делать это. А если ты встанешь у меня на пути и все испортишь, я тебя повешу. На сей раз без всяких пардонов.

С минуту было тихо.

— Ставка на время! — задумчиво сказал Копиц. — Оба мы делаем ставку на время, ты и я. Мне нужен покой, хотя бы для передышки, а тебе тоже он нужен, чтобы надеяться бог весть на что. Что ж, никто тебе не мешает, надейся!

— Я так и не понимаю, чего вы хотите, герр рапорт-фюрер.

— Это ясно. Я не хочу отправки «Гиглинга 3» в газовые камеры. Я хочу, чтобы он исправно функционировал [379] как рабочий лагерь. Если у нас есть больные, мы их поместим к тебе в лазарет. Тех, кто помрет, похоронит Диего. И чтобы больше никаких перемен, ровно никаких. Так я хочу.

— Нельзя играть в спокойствие, когда в лагере тиф. От него не отгородишься.

— Quatsch! <Вздор! (нем.)> Я не забиваю им свою голову. Умирают заключенные? Ну что ж, им и положено умирать. Устроить дезинфекцию можно, это правильно. И вакцину для прививок конвойным и специалистам, работающим у Молля, мы тоже раздобудем. Тем самым будет обеспечена безопасность, и работа пойдет дальше.

— У вас перемерет весь лагерь.

— Опять вздор! Мы пережили сыпняк в Варшаве. Сотни старожилов отлично перенесли его и еще сохранили достаточно сил, чтобы построить новые лагеря в Гиглинге. И здесь тоже не перемерут все. Вы уже не заболите, и еще многие уцелеют. На опустевших нарах мы разместим пополнение, и дело в шляпе.

— А если доктор Бланке будет другого мнения?

— Мы должны постараться, чтобы он был одного мнения с нами. Ты не хочешь ликвидации лагеря, вернее, отправки его в печь. Я тоже. Стало быть, не надо пугать Бланке. Не будем ему ничего подсказывать, пусть сам...

— А если он введет карантин?

— Никаких карантинных для лагерей не существует. Я знаю предписания, о которых не знаешь ты. Или работа, или печь, на выбор. Поэтому ты скажешь Бланке, что в лагере есть больные с высокой температурой, и все.

— Вы думаете, доктор Бланке будет советоваться со мной, врачом евреем?

— Не знаю. Но если ты посмеешь говорить с ним так, как говорил со мной, я тебя прикончу. Это уж наверняка.

\* \* \*

Как только рапортфюрер покинул лагерь, портной Ярда прибежал в кухню. Сердце у него испуганно билось: а вдруг нарвусь на кухоншефа? Но дверь была открыта, и, заглянув в кухню. Ярда увидел там только девушек.

— Уходи! — крикнула одна из них. — Не знаешь, что ли, что тебе сюда нельзя?  
[380]

Ярда приложил палец к губам и поманил девушку.

— Кто из вас фрейлейн Юлишка? Я к ней по делу.

Подошла Юлишка с повязкой на рукаве и палкой в руках.

— Это, наверное, портной?

Ярда робко поглядел на огненные глаза и прочие прелести Юлишки и отрекомендовался ей, как учил его Гонза.

— Не очень-то ты похож на владельца шикарного салона. В Праге ты тоже ходил с грязью под ногтями?

Ярда глуповато улыбнулся и неловко сделал старомодный поклон.

— Работой будете довольны. А в лагере я не могу выглядеть, как хотелось бы...

— Есть у тебя сантиметр?

— Откуда же? Но мы обойдемся веревочкой. Для вашей талии хватит совсем коротенькой, хи-хи-с! Игла у меня есть.

— Подожди здесь. — Она ушла в темную кухню и принесла узелок с одеждой, которую на днях обменяла на еду у «мусульман». — Что ты скажешь об этих коричневых брюках? Они вполне сносные и достаточно велики. Я дала их выстирать. Когда будешь обуживать штанину, выпори полосатый кант, понятно?

Ярда удивился.

— Выйдут совершенно гражданские брюки. В Освенциме нарочно вшивали этот арестантский кант.

— Знаю. А я не хочу арестантских, и точка. Когда будет готово?

Она смерила веревочкой свою талию, потом Ярда промерил длину брюк. Все это делалось торопливо и в тени. Беа стояла настороже перед кухней и смотрела в сторону комендатуры. Вдруг она увидела машину Россхауптихи.

— Бросьте все! — крикнула она. — Кобылья Голова здесь!

— А мы, собственно, уже готовы, а? — хладнокровно усмехнулась Юлишка и движением руки отпустила Ярду.

— Achtung! — заорали ордунгдинсты у ворот.

Юлишка вбежала в кухню и напрямик к каморке Лейтхольда.

— Герр кюхеншеф, битташон! Приехала фрау надзирательница! [381]

Россхауптиха уже шагала к конторе, писарь вытянулся перед ней в струнку. В руке у нее он заметил плетку, глаза надзирательницы не предвещали ничего доброго. «Ого! — подумал Эрих. — Кобылья Голова жаждет крови». И, застыв на месте, он медлил с рапортом.

На счастье, с другой стороны уже ковылял Лейтхольд с ключом в руке.

— Хай... тлер! — приветствовал он. — Мне уже пришлось побывать сегодня в женском лагере... к сожалению. Вам об этом говорили в комендатуре?

— Нет, я пришла прямо сюда. Что случилось?

Лейтхольд теперь заметил, что она не в духе, и проклинал свою разговорчивость. С какой стати именно он должен сообщать обо всех неприятностях?

— Недавно вы принесли сюда котенка... Сегодня утром его нашли сгоревшим на проволоке.

— Кто это сделал?

— Очевидно, несчастный случай... Котенок, видимо, влез на ограду...

— Так-то его берегла секретарша! Ну, я ей задам!

— Утром мы выключили ток, и тотенкапо под моим личным наблюдением убрал...

— К чему вы мне это рассказываете? На что мне ваши дохлые кошки? Но девчонку я проучу! Отоприте калитку и ждите здесь.

Илона, стоявшая у калитки, подала рапорт. Надзирательница, даже не взглянув на нее, прошла прямо к третьему барaku.

— Где эта сволочь? — крикнула она и щелкнула плеткой.

Илона побежала за ней.

— Секретарша заболела... у нее лихорадка, она бредила всю ночь.

— Ага! Знает, симулянтка, что ее ждет!

Россхаупт вошла в низкую дверь и остановилась около койки Иолан. Девушка лежала, закрыв глаза, в лице у нее не было ни кровинки, алые пятна на щеках уступили место восковой бледности.

Надзирательница опешила, ей показалось, что перед ней труп. Она перевела дыхание и выпрямилась, словно только что осознала, что не имело смысла так воинственно вторгаться сюда. Здесь не с кем было воевать, некого карать. [382]

— Врач был? — хрипло спросила она и, когда девушки подтвердили, что был, распорядилась лишь для того, чтобы сказать что-нибудь: — Пусть придет еще раз!

Илона подбежала к калитке, крикнула: «Frauenarzt!» — и вернулась в барак. Староста барака тем временем прерывистым голосом рассказывала о том, что произошло. Было затемнение... Иолан потеряла сознание, лежала на снегу, подруги принесли ее.

Россхаупт села на койку и молчала, забыв о плетке, висевшей в ее опущенной руке.

Пришел Шими-бачи и сообщил свой утренний диагноз: слабая конституция, недостаточное питание в период роста, возможно анемия, а также повышенная впечатлительность. В результате — нервный шок, причина которого — несчастный случай с котенком.

Надзирательница велела еще раз осмотреть пациентку и тупо глядела, как блоковая откинула грубое одеяло и стянула с плеч Иолан серую рубашку. Доктор приложил ухо к хрупкой груди девушки. Через минуту осмотр был закончен, Иолан снова покрыли одеялом. Лицо больной вдруг стало беспокойным, исказилось гримасой, словно она хотела заплакать, но глаза с длинными ресницами оставались закрытыми, как у спящей куклы, на них не было слез, губы были плотно сжаты.

— Ну, так что с ней делать? — неожиданно грубо сказала надзирательница и встала. Шими-бачи выпрямился и взглянул в ее каменное лицо. «Никогда не будет более подходящего случая сказать ей, что я думаю на этот счет», — мелькнуло у него.

— Иолан поправится, если ей обеспечить покой. Но не здесь, не в Гиглинге. Не знаю, известно ли фрау надзирательнице, что в лагере появился сыпной тиф. У девушек пока почти нет вшей, но через несколько дней эпидемия перекинется и к ним. Иолан не переживет тяжелого заболевания. Да и большинство девушек тоже. Не можете ли вы устроить, чтобы их перевели в другой лагерь?

Россхаупт не ответила. Она медленно вышла из барака, словно ничего не слышала.

\* \* \*

Копиц в комендатуре сердито отбросил газету.

— Хорошенькое дело! — кивнул он на сводку германского командования. — Учти, Руди, что у меня на голове [383] нет плешки. Просто мои волосы «стратегически отступили на заранее подготовленные позиции».

Дейбель чистил пистолет и не поднял головы.

— Тебя это, конечно, не интересует, — раздраженно продолжал рапортфюрер. — Тебя в последнее время вообще ничто не интересует. Занимаешься с Мотикой такими же рискованными делишками, как с Фрицем, а то, что мы теряем наш обычный доход с провианта, тебя не касается!

Дейбель стыдливо улыбнулся голубыми, как незабудки, глазами, взглянул на коллегу и потер пальцем тупой носик.

— Не брюзжи, старый. Что ж поделаешь, если Лейтхольд кретин?

— Всегда можно что-нибудь сделать, но для этого надо пораскинуть мозгами. — Копиц стукнул кулаком по газете. — Надо избавиться от него. Надо застукать его с какой-нибудь девкой или натравить на него Кобылью Голову. Или еще что-нибудь в этом роде. Что если ты сегодня вечером подпойшь его и заставишь проговориться?

— А ну тебя! Пить с таким недоноском!

— Значит, ты ему прощаешь тысячу триста порций, которых он позавчера лишил нас?

— Нет! — спокойно сказал Дейбель. — Никогда не прощу. Я его за это отправлю на тот свет. Но как, это должен придумать ты.

Вошла Россхаупт. Плетка все еще болталась в ее руке. Даже не взглянув, ровно ли висит сегодня портрет Гитлера, она придвинула стул к столу и села.

— Откройте же окно! Как можно выдерживать такую духоту!

Дейбель выполнил ее желание. Вычищенный пистолет он сунул в кобуру и повесил на место.

— Ну, фрау надзирательница, — осторожно начал Копиц. — Что вам сегодня у нас не понравилось?

— Недавно вы обещали сделать дезинфекцию...

— Я не забыл об этом! — Рапортфюрер придвинул к себе лежавшую на столе папку. — Сейчас я сообщу вам точную дату, когда я настоятельно просил Дахау...

— Не надо! — Она махнула рукой и, вспомнив о плетке, машинально стала сворачивать ее колечком. — Все равно поздно. У вас тут тиф... [384]

Дейбель поглядел на Копица. Откуда эта ведьма знает?

— Что вы имеете в виду? — осторожно осведомился рапортфюрер.

— То, что говорю. Не прикидывайтесь дурачком. Как будто вы не знаете!

«Учтивость имеет свои границы», — подумал Копиц и сказал с усмешкой:

— Мы все знаем, фрау надзирательница. И то, что в лагере есть больные с высокой температурой, и то, что у некоей секретарши пропал котенок...

Россхаупт медленно подняла взгляд.

— Я сегодня не расположена к шуткам. Отложим препирательства. Что вы предпринимаете против тифа?

— Нам известно лишь о больных с высокой температурой. Об этом я информировал сегодня утром Дахау и просил доктора Бланке приехать сюда. А кстати, кто вам сказал, что это сыпняк?

— Врач женских барачков, — ответила Россхаупт, не заметив, как Копиц и Дейбель обменялись взглядами. — Я плохо себя чувствую. Есть у вас пирамидон? Или глоток спиртного?

— О, конечно, — Копиц вскочил и вытащил бутылку шнапса, которую только что припрятал в шкаф с бумагами. Дейбель тем временем рылся в маленькой аптечке у двери.

— Я думаю, будет лучше убрать женщин из вашего лагеря, Копиц, — сказала вдруг надзирательница. — Избавитесь от хлопот, а главное, от меня. А? — Она даже попыталась улыбнуться и заморгала рыжими ресницами.

— Убрать женщин? А кто будет нам стряпать? И для чего мы спешно строили забор внутри лагеря? Значит, все это напрасно?

— Напрасно. У Молля строят еще больше ненужных вещей... расходуют миллионы... А стряпать? Столько мужчин бездельничает у вас в лагере. Будут варить себе сами.

— Вы же это не всерьез! А кухня эсэс?

— Двадцать девушек из пятого лагеря могут ежедневно приходиться сюда пешком.

Копиц хотел продолжить свои возражения, но решающий маневр на этот раз предпринял Дейбель. Он сдвинул фуражку на затылок и вздохнул:

— Бедняга Лейтхольд! [385]

— Почему бедняга? — устало спросила Россхаупт. Копиц оживился.

— Как, вы не знаете? Он же без ума от одной из этих евреек. Из-за него у нас хлопот не оберешься.

Россхаупт подняла брови.

— Этот калека? Да что вы говорите!

— Вот именно он. Самое время убрать отсюда девушек, этим вы, быть может, спасете жизнь Лейтхольду.

Усталость все сильнее овладевала надзирательницей.

— Этого я совсем не хочу. Если все это правда и ваш помощник забыл о своей эсэсовской чести, ему место на виселице.

— Вот именно! — убежденно сказал Копиц. — Но отъезд девушек, возможно, исправит его. Да, переведите их в другое место, фрау Россхаупт.

— Посмотрим... — Надзирательница с трудом подняла набрякшие веки. — Слушайте, нет ли у вас тут какой-нибудь каморки, где можно прилечь?

Копиц перегнулся через стол.

— Может быть, вызвать доктора? Что с вами?

— Ничего, — сказала она и хлебнула из рюмки. — Сегодня утром я получила телеграмму... Разбомбили домик моих родителей... и... младшая сестра тоже... Покажите, где у вас койка. На полчасака...

\* \* \*

Писарь дочитал длинный список, поднял очки на лоб и протер глаза. Потом перебросил бумагу через стол Зденеку и сказал хрипло:

— Надо все переделать.

Это были первые слова, произнесенные им сегодня с утра. После переклички и инцидента с Оскаром Эрих вернулся в контору сам не свой, было видно, что сцена, разыгранная на апельплаце, отнюдь не доставила ему удовольствия. Он несколько раз собирался заговорить на эту тему со своим помощником, но Зденек работал с такой подчеркнутой сосредоточенностью, что писарь промолчал. Теперь тишина была нарушена, и Зденек поднял голову.

— А почему надо переделывать, герр Эрих?

— Надо! — прохрипел писарь. — Если бы ты вовремя посоветовался со мной, не пришлось бы зря работать. [386] Зачем ты в шести местах указал причину смерти — «*tiphus exanthematicus*»?

Зденек прищурился.

— В диагнозы врачей я не вмешиваюсь. Как они пишут на рапортичках, — он указал на клочки бумаги, — так я и указываю в сводке.

— Утром ты был на апельплаце и все слышал. Переделай сводку, вместо тифа

напиши всюду «сердечная недостаточность», «insuficiencia cordis». Есть в лагере тиф или нет, это еще будет видно.

— Здесь подписи врачей.

— Не болтай зря. Неужели надо еще раз повторять тебе, что в глазах эсэсовцев доктора из нашего лазарета — коновалы, а не врачи...

— Об этом вы говорите с Оскаром. Я пишу то, что...

— Ну, хватит!- Эрих схватил сводку и разорвал ее пополам. Шрам на его шее побагровел. — Еще ты будешь мне перечить! В конторе этому не бывать, здесь распоряжаюсь я! Думаешь, я за вас подставлю голову под удар и пойду в комендатуру с неправильной сводкой? Как бы не так! Когда меня здесь не будет, ты поймешь, какое сомнительное удовольствие — помогать людям, имея за спиной таких олухов, как ты и Оскар. Вот будешь за все отвечать сам, тогда попробуй написать в сводке не то, чего хотят наци. А строить из себя храбреца за мой счет...

На дворе послышался возглас «Achtung!» Писарь умолк на полуслове. Его слух был натренирован: если прозевать это «Achtung», можно получить изрядную взбучку.

— Открой-ка дверь, я не расслышал...

Зденек выглянул из конторы.

— Вызывают врача женских барачков.

— К воротам? Странно. Сбегай в лазарет, скажи Шими-бачи.

Писарь остался сидеть за столом и хмуро уставился в одну точку. Надзирательница уехала минут десять назад, зачем же вызывают врача женского лагеря? Может быть, хотят назначить его вместо Оскара главой лазарета? Или это связано с тем разговором, который был сегодня у Копица с Оскаром?

Но тут Эрих оставил всяческие догадки — ему вдруг пришло в голову, что он сейчас может воспользоваться [387] отсутствием Зденека и просмотреть его бумаги. Чех все время что-то записывает. Что это такое могло быть? Вот и сейчас, когда писарь обратился к нему насчет сводки, Зденек быстро сунул под ящик какие-то бумажки...

Эрих встал, надвинул на нос очки и перегнулся через стол к бумагам Зденека.

\* \* \*

— Меня вызывают?

Шими-бачи схватился за грудь, но тотчас овладел собой и встал. Его щеки были, как всегда, розовы, седые виски придавали лицу благодушное выражение.

Оскар заметил невольное движение старого врача и взглянул ему в глаза.

— Тебе нехорошо?

— Нет, я просто искал градусник. — Шими-бачи сунул руку в правый карман пальто и вынул термометр. — Я думал, что он у меня в нагрудном кармане, а он, оказывается, здесь.

Он бережно положил футляр с градусником на стол, потом извлек из кармана свиток бумажных бинтов и бросил их рядом с градусником.

Оскар нахмурился.

— Ты знаешь, почему тебя вызывают?

— Откуда же мне знать? — улыбнулся Шими-бачи. — Но опытный заключенный всегда очищает карманы, когда идет к *ним*.

— Шими! — Оскар взял его за плечи. — Ты был неосторожен в разговоре? Может быть, с надзирательницей?

— Может быть, — неторопливо кивнул венгр. — А разве ты никогда не высказываешься неосторожно? Я сказал Кобыльей Голове, что можно спасти наших девушек: надо быстро убрать их отсюда, пока они не заразились тифом. Разве я неправ?

В открытых дверях появился Зденек, а издалека опять донеслось: «Frauenarzt, vorwärts!»

У Оскара дрогнули губы. Он обнял старика. Тот, улыбаясь, упирался и не хотел прощаться с Рачем и Антонеску, которые тоже подошли к нему.

— Не дурите! Выдумали бог весть что! Я скоро вернусь. Пустите же, мне надо идти, а то и в самом деле побьют. [388]

На прощанье он помахал всем рукой, повернулся и быстро вышел. Врачи прошли следом за ним шагов двадцать и видели, как в воротах мелькнуло его развевающееся пальто.

У ворот был только конвойный. Он довел старого доктора до дверей комендатуры и гаркнул в дверях:

— Der Frauenarzt ist hier! <Врач женского лагеря явился! (нем.)>

Дорогу слегка замело снегом, день был сухой и морозный. Шими-бачи шагал рядом с курившим Дейбелем и с любопытством поглядывал по сторонам. Он совсем не знал окрестностей лагеря. Шагах в двухстах перед ними начинался редкий дубовый лесок, бурые листья еще покрывали ветки. Направляясь к лесу, они миновали усадьбу крестьянина, с которым Копиц занимался торговыми делишками. Молодая крестьянка выглянула из калитки и, узнав Дейбеля, ответила на его приветствие.

— А, герр Руди! Вы к нашему деду?

— Не-ет! — усмехнулся эсэсовец. — Мы с доктором идем на санитарную инспекцию. Не так ли, Шими?

— Да, — венгр вежливо кивнул. — Добрый день, фрау.

— Герр Руди всегда шутит, — молодуха погрозила пальцем. — А может быть, вы в самом деле доктор?

— Он-то? — оказал Дейбель. — Доктор, и даже женский. Верно?

Шими смущенно подтвердил, пожав плечами с видом человека, который сопровождает пьяного. Мол, что с ним спорить!

— Ну, желаю успеха! — воскликнула молодуха. — И заходите к нам, герр Руди. Вместе с доктором заходите! Вы же знаете, что у меня давно болит вот тут. — Она со смехом ткнула себя в грудь и захлопнула калитку.

Дейбель самодовольно усмехнулся.

— Неплохая бабенка, а? Муж у нее на фронте, она тут одна с четырьмя ребятами и дедом.

— Неплоха, неплоха, — подтвердил Шими-бачи, и в душе его проснулась нелепая надежда. «Нет, не может быть, чтобы так вели человека на смерть! Не может быть! Глупо было думать, что меня хотят... Дейбель весел, эта женщина видела нас вместе, она его хорошо знает... [389] Если он будет возвращаться один, она заметит это и наверняка спросит, а где же я. Что он ей скажет? Что оставил заключенного в лесу? Этому она не поверит. Скажет напрямик, что убил доктора? Нет и тысячу раз нет, это невозможно!»

Почти повеселев, он тронул эсэсовца за рукав.

— А куда мы, собственно, идем, герр обершарфюрер? На какую инспекцию?

— Разве я тебе еще не сказал? — отозвался Руди самым веселым тоном. — Опять с нас требуют отчетность. Нужен акт о состоянии кладбища: соблюдены ли там все предписания. Глубина могил — метр сорок, посыпка трупов хлорной известью и все прочее. Сам знаешь.

— Да, да, — бодро, но вместе с тем осторожно сказал Шими-бачи, как будто все еще разговаривая с пьяным. Ему так хотелось верить, что Дейбель говорит правду! И только это отвратительное слово «кладбище» насторожило и заставило содрогнуться.

— А ты вообще-то знаешь наше кладбище? — спросил Руди, отбросив окурок.

— По правде сказать, не знаю. Кладбище! Все-таки, значит, кладбище. В Баварии, в чужой земле...

Дейбель кашлянул и слегка вздрогнул.

— А ветер изрядный. Ты почему не застегнешься? «Ах да, надо застегнуть пальто. Ведь я буду жить, а живой человек не должен простужаться». Старый врач начал застегиваться, но пальцы не слушались его. «Просто руки у меня дрожат от холода, вот и все, — твердил он себе. — Только от холода...»

Они шли лесом, в приятном полумраке. На дереве мелькнули две белки, в сухой листве у дороги показался крот.

— Это еще не настоящая зима, — сказал Дейбель. — В этом году она, видно, будет мягкая. Вон и белки до сих пор скачут.

— Для нас она будет тяжелой, — сказал врач, полный решимости жить. Ему уже дышалось легче, слово «кладбище» больше не страшило его, в ушах звучал голос смешливой молодухи: «Желаю удачи! Заходите к нам вместе с вашим доктором...»

— Это последняя военная зима, как ты думаешь? — наклонился к нему эсэсовец.

— Ее можно пережить.

— Наверняка последняя, — отозвался врач. [390]

— Та-ак! — засмеялся Дейбель и замшевой перчаткой почесал свой тупой носик.

— А чего ты хотел бы в будущем году?

— Мира. И чтобы все мы вернулись домой.

— Мира? Стало быть, кто-то должен выиграть войну, а кто-то проиграть. Ты, конечно, хочешь, чтобы проиграл Адольф, а?

«Если он не ведет меня убивать, то за мой ответ он меня, во всяком случае, не убьет», — подумал Шими-бачи и сказал:

— Вы задаете странные вопросы. Этого, я думаю, хочет каждый заключенный.

— Вот видишь! — Дейбель, восхищенный своей проникательностью, прищурил глаз. — Значит, и ты этого хочешь. А что же будет с такими, как я, если Гитлера... того...

«Ты-то от петли не уйдешь», — подумал Шими-бачи, но вслух сказал:

— А разве вам так уж не хочется расставаться с военной формой? Я пел от радости, когда демобилизовался в восемнадцатом году. А ведь мы тогда тоже проиграли войну.

— Ты — другое дело. Ты еврей.

— Другие тоже пели. Я пел, потому что был тогда совсем еще молодым врачом и радовался, что займусь мирной практикой. Так не хотелось больше резать простреленные конечности! И я взял себе маленькую практику в провинции, лечил от всех болезней, даже принимал роды... Вы не представляете себе, какая это тяжелая работа... А сколько бессонных ночей стоит матери вырастить ребенка! И вот опять война, и наш лагерь полон мусульман. Все они когда-то были детьми... Столько трудов ушло на то, чтобы вырастить их, столько отцов, докторов, учителей занимались ими! А сейчас все это так запросто идет насмарку...

— Говори, говори, — подбодрил его Дейбель, когда Шими-бачи вдруг запнулся. — Я на тебя не донесу, а время пройдет скорее, — тут он понял, почему старый доктор боится идти дальше, поднял голову, сделал быстрый глубокий вдох и сказал: — Слышишь, как пахнет хлорная известь? Это полезная вещь. Ты все болтаешь о детях, словно не знаешь, сколько рождается всяких выродков. Таких надо устранять, чтобы они не запоганили [391] мир, не смердили. Хлорная известь — полезная вещь, она дезинфицирует всякую заразу. А?

Старый доктор поглядел в насмешливые голубые глаза эсэсовца, смотревшие на него сверху.

Теперь он знал правду. Щеки его немного побледнели, но голос остался ровным.

— Хлорная известь, герр обершарфюрер, это мертвая материя. Порошок, с которым можно делать что угодно. Он только разъедает то, что им посыплешь, вот и все. Мы, люди, умеем больше.

— Марш! — сказал Дейбель.

6.

Оскар Брада вошел в контору. Он все еще был очень зол на писаря за ту комедию, что тот разыграл утром на апельплаце, и решил не разговаривать с ним. Но страх за жизнь Шими-бачи оказался сильнее: когда прошел час, а старый врач все не возвращался, Оскар решил действовать.

За столом сидели Зденек и Эрих. Зденек что-то писал, а Эрих с нетерпением ждал, пока он кончит. Он постукивал толстыми пальцами по лежащей перед ним пустой папке и сделал вид, что не заметил Оскара.

— Привет, Оскар! — сказал Зденек, подняв глаза и рассеянно улыбнувшись. — Тебе надо что-нибудь?

Брада стоял в дверях и не в силах был скрыть тревогу.

— Я к Эриху.

— Да ну! — удивился писарь, поднимая брови. — Какая честь!

— Так ты садись, — сказал Зденек. — Если тебе надо поговорить с ним наедине, я...

— Нет, оставайся. Я пришел спросить, где Шими.

— Он еще не вернулся? — перепугался Зденек, в душе проклиная дурацкую «сводку покойников», которая требовала от него предельного внимания.

— Нет. А вам известно что-нибудь? Зачем его вызывали?

Писарь провел рукой по плечи и почесал затылок.

— Много я на этот счет не раздумывал. Может быть, его хотят сделать старшим врачом вместо тебя?

— Что за чушь! Шутки в сторону. Дело серьезное. [392]

— В самом деле? Что же ты не пришел сразу? Если хочешь знать, я сознательно отстранился от этого дела. Я думал, что вы о чем-то сговорились с рапортфюрером, ведь сегодня днем он навестил тебя в лазарете... А ты даже не счел нужным рассказать мне, о чем был разговор.

— А ты мне докладываешь, о чем с ним сговариваешься? Уж ты-то этим занимаешься!

— Ты пришел препираться со мной или выяснить, что случилось с Шими-бачи?

— О том, что было сегодня утром, я тоже не мог смолчать! Не думай, что я безропотно смирился с твоим поведением на апельплаце. К твоему сведению: я снова настаиваю на приеме у рапортфюрера. Иди в комендатуру и возьми меня с собой.

— Зачем? Ты спятил?

— Я не могу больше ждать... Шими-бачи был неосторожен. Чтобы спасти девушек, он сказал надзирательнице, что в лагере тиф.

— Ого-го! — проворчал писарь.

— Россхаупт, видимо, рассказала об этом в комендатуре, а Копиц... ты ведь видел, что он выделял утром, лишь бы я не произнес слова «тиф» и не испортил его страусовую политику... Шими там уже больше часа.

— Вероятно, его вздули, — задумчиво произнес писарь, — лежит там где-нибудь без сознания, и нас, наверное, скоро вызовут унести его.

— Я не хочу больше ждать. Пошли к Копицу!

Эрих Фрош чувствовал себя виноватым перед старшим врачом. Поэтому он кивнул.

— Я пойду один. Можешь подождать меня тут. И не спорь, мне и вправду лучше идти одному. Да я и не скажу, что пришел справляться о Шими-бачи. Мне как раз

надо отнести Копицу сводку умерших. Кончай поскорей, Зденек! — И он хлопнул рукой по пустой папке. Чех виновато опустил голову и продолжал заменять «тифус экзантематикус» «сердечной недостаточностью».

— Кури! — сказал Эрих, кидая Оскару сигарету. С минуту было тихо, потом дверь открылась, заглянул Диего в берете и шарфе.

— Furt nix? <Еще нет? (испорч. нем.)> — осведомился он, уставившись на писаря. [393]

— Шагай, шагай! Я уже два раза оказал тебе, что тотенкоманда не может выехать, пока этот недотепа не кончит сводку.

У ворот послышался возглас: «Lagerschreiber, vorwärts!»

Писарь вскочил, как автомат.

— Вот оно! Ну, спокойно! — добавил он, обращаясь к доктору, и побежал в комендатуру.

Вернулся он очень скоро, и лицо его не было таким румяным, как прежде. Он снял запотевшие очки и подошел прямо к Оскару.

— Дейбель застрелил его.

Оскар без сил опустился на лавку. У Зденека рука с пером скользнула по бумаге, сделал безобразную закорючку.

— При попытке к бегству, — прохрипел в тишине писарь, — во время санитарной инспекции на кладбище. Лежит на берегу реки, вправо от главной могилы. Писарь Зденек и новый дантист немедленно отправятся туда вместе с тотенкомандой, врач осмотрит зубы мертвого и продиктует акт о смерти. Похоронить сразу же. Оскар, пожалуйста, пошли ко мне нового дантиста... А сейчас иди в лазарет, потом мы поговорим. Мне его тоже жалко... — И он накинудся на Зденека. — Черт подери, кончишь ты когда-нибудь или нет?! Сколько раз тебе говорить!

Зденек взял резинку и подчистил закорючку. Но из глаз у него выкатились две крупные капли и упали на бумагу.

\* \* \*

— Los, Mensch! Надо управиться до обеда! — сказали Зденеку могильщики из команды Диего. Между собой они говорили по-испански, и Зденек их не понимал.

Тележку нагрузили с верхом, как обычно в последние дни. У могильщиков была своя система: половину «груза» они клали головой вперед, половину головой назад. Таким образом на тележку помещалось «пятнадцать штук». Грязная парусина, которую закрепляли сверху, не покрывала всех трупов, окоченевшие руки и ноги торчали во все стороны.

Антонио и Фелипе тянули впереди за оглобли. Диего, Фернандо и Пако толкали тележку сзади или подпирали [394] ее плечом, когда дорога шла круто в гору. Дантист и Зденек тоже помогали по мере сил. Шествие замыкали двое конвойных с ружьями — турнфатер Ян и какой-то мордастый тиролец.

Они проехали усадьбу у леса, там сейчас не видно было ни души. В садике на веревке болталось детское белье, застиранное и залатанное.

— Тут кто-нибудь живет? — прошептал Зденек, шагавший рядом с Диего.

— Claro, hombre <Конечно, приятель (*исп.*)>, — проворчал тот. — А чему ты удивляешься?

— Тому, что оставили тут жителей, около самого лагеря. Ведь они все видят.

— Ну и что ж? Им это не мешает. Мы дважды в день ездим мимо них с нашим грузом. Иной раз хозяйка выглянет из окна, в хорошую погоду играют дети, их четверо, все белокурые и сопливые.

— Что они о нас думают? Одобряют вот это? — Зденек кивнул головой в сторону лагеря.

Диего не ответил. Зденеку показалось, что он утвердительно кивнул своей угловатой головой. И тогда Зденек прошептал ему в самое ухо:

— Ты бы, значит, их всех...

— Не носи вздор, чех! Возьмись лучше за веревку и придерживай тележку. Видишь ведь, что мы едем под гору.

Все, упиравшись ногами в землю, вцепились в тяжелую тележку и притормаживали ее. Запыхавшиеся испанцы переговаривались и, вспомнив, видимо, какой-то веселый случай, громко хохотали.

— А сами-то мы хороши? — продолжал Диего. — Ребята сейчас вспоминают, как однажды в гололедицу эта подлая тележка вырвалась у нас из рук. Бац, — и Фелипе швырнуло вон в те кусты. Умора! Погляди, он еще и сейчас ходит весь исцарапанный. Лежал тогда в самом низу, под трупами, все они свалились на него, его и не видно было...

Зденек не засмеялся.

— К чему ты рассказываешь мне такие отвратительные вещи? Мы же говорили о немцах...

— А ну тебя, ничего ты не понимаешь!

С минуту Зденек сдерживался, потом вскипел: [395]

— По-твоему, люди все равно что звери. И немцы, и мы, и... значит, и Шими-бачи тоже! Всех ты ставишь на одну доску.

Диего медленно и печально покачал головой.

— Ничего подобного я не говорил. В большинстве люди — это люди; в том числе и немцы. Но надо суметь более стойко переносить нынешние ужасы. Некоторым это пришлось не по силам. А теперь, уж вправду, хватит об этом!

\* \* \*

При слове «кладбище» воображению представляется каменная ограда, кресты, могильные плиты. Здесь не было ничего подобного. Небольшую просеку в дубовом лесу пересекал ров, большая часть которого была закидана землей. Впереди, где еще зияла яма, лежали вчерашние трупы, слегка посыпанные известью и снегом. Двое испанцев молча взяли лопаты, спрыгнули в ров и стали забрасывать трупы землей. Двое работали наверху кирками, помогая нижним. Ров понемногу удлинялся, рядом с закапываемыми покойниками возникало место для нового «груза». Его зароят завтра.

Тиролоец закурил сигарету и остался стоять на краю ямы, возле бочки с известью. Турнфатер Ян кивнул остальным, чтобы шли с ним искать мертвого врача.

Они вышли с просеки, опушка леса была уже близко. Лес поредел, каменистый склон круто спускался к реке Лех. Воды в ней в это время года было мало, и река, подобно горному ручейку, извивалась между валунов. Только обрывистые берега свидетельствовали о том, что к весне река опять станет бурной и полноводной.

Река и чистый воздух на минуту одурманили Зденека. Он старался забыть о яме посреди просеки, о запахе хлорной извести... Потом он посмотрел в том направлении, куда показал Ян. Вот он, Шими. Какой маленький!.. Лежит головой к реке, пальто задралось, руки словно протянуты к холодной воде.

— Ну да, — проворчал конвойный. — Точно так, как сказал герр обершарфюрер. Кинулся к реке, хотел удрать, получил пулю между лопаток.

Диего стал на колени около мертвого и очень бережно перевернул его на спину.  
[396]

— Да ведь рана у него на груди!

Он указал пальцем на кровавое пятно и в упор посмотрел на немца.

— Не болтай, если не понимаешь! — И конвойный толкнул винтовкой дантиста. — За дело! А ты, писарь, запишешь, как я сказал.

\* \* \*

Когда Зденек вернулся в контору, Эрих сидел за столом и размешивал ложкой похлебку. На печурке стояла вторая миска.

— Эй, Бронек, чех пришел. Подай ему обед.

Зденек сел на скамейку и устало покачал головой.

— Я не буду есть.

— Ну и глупо, — сказал писарь.

Бронек принес миску, ложку и ломоть хлеба.

— Выйди, — сказал ему Эрих, сверкнув очками. — Мне надо вправить мозги этому олуху.

Бронек повиновался. В конторе остались писарь и Зденек. С минуту оба молчали. Зденек нетвердой рукой придвинул к себе картотеку живых, чтобы вынуть карточку доктора Шимона Гута и переложить ее в другой ящик.

— Оставь-ка пока это! — сказал Эрих, вынул из кармана три листка и с многозначительным видом положил их на стол. — Все по порядку. Сперва займемся вот этими карточками.

Зденек тотчас узнал их и протянул руку.

— Дайте сюда. Это вас не касается.

— В таком тоне ты со мной не разговаривай, раз навсегда предупреждаю! — писарь положил свою тяжелую ручищу на листки, чтобы Зденек не мог их взять.

— Это мое личное письмо, Эрих. Оно адресовано девушке, если хотите знать. Отдайте немедленно!

— Отдать?

Писарь встал, приподнял кочергой раскаленную конфорку на печурке и бросил туда листки.

Зденек вскочил, оперся руками о стол, дрожа от гнева. Он не знал, кричать ему или просто повернуться и уйти, уйти из конторы, от этого гнусного коллаборанта и... Лучше смерть! Неужели стоит жить, когда жизнь сохранена такой ценой? [397]

Писарь опять уселся на место.

— На сей раз твои дурацкие записки случайно обнаружил я. А что если бы их нашел Дейбель? Вспомни об участии Шими-бачи. Сейчас у нас особые строгости. Да и без них за такую писульку можно получить петлю на шею.

— Я вам говорю: это письмо к девушке!

— Это потому, что оно начинается «Милая Иолан»? А разве ты не знаешь, что и за такое письмо полагается смертная казнь? — Писарь расстегнулся, он совсем взмок.

— Но это не письмо. Любому младенцу ясно, что ты делаешь заметки для фильма или что-то вроде. Есть у тебя еще такие листки? Если есть, дай сюда, лучше сожжем их, пока не поздно! — В голосе Эриха был неподдельный испуг.

Зденек сжал губы.

— Не бойтесь, вам не грозит вылет из конторы. До сегодняшнего дня я ничего не писал. А то, что вы нашли, это действительно письмо. Вы же знаете, что венгерка-секретарша болеет... Я хотел развлечь ее.

— Развлечь! Вас повесят рядышком, если Кобылья Голова найдет у нее такое письмо. Садись-ка, это серьезное дело... Или стой, если уж ты такой упрямый. Знай, что я за свою должность не боюсь. Шесть лет я тут хожу по канату, как-нибудь удержусь. Но сколько таких, как ты, на моих глазах попали в мертвецкую. Ни за что ни про что. Скоро, может быть, все кончится. Неужто ты не хочешь дожить до этих дней, а потом спокойно заниматься полезным делом? Я знаю, ты кинорежиссер. Думаешь, я забыл об этом, нет!.. Я и сам хочу, чтобы кто-нибудь снял такой фильм.

— По-вашему, значит, так, — сказал Зденек строго, — пока ты в лагере, не пикни. Делать что-нибудь стоящее можно только потом. Шими-бачи был просто дурень, а вот у Эриха Фроша — глубокий ум.

Зденек ждал, что писарь грубо оборвет его, но ошибся. Эрих лишь слегка усмехнулся и медленно сказал:

— Шими-бачи был доктор и выполнял свой врачебный долг. Может быть, он спас этих девушек. Ему было нетрудно решиться, он уже прожил свою жизнь, и его игра стоила свеч. — Эрих выпрямился. — Что касается меня, то как меня ни честили, никто еще не сказал, что Эрих Фрош глуп. Я не старый врач, я всего только венский колбасник, окончивший два класса коммерческого [398] училища. От меня нельзя требовать, чтобы я жертвовал собой. Ты, киношник, в таком же положении. Нас швырнули сюда, на самое дно этой скверной трясины, так разве это грех, что мы бултыхаемся и стараемся выплыть? А раз мы поумнее других, значит, мы думаем за них, помогаем им. Разве я делал что-нибудь плохое, скажи? Вот выйдем отсюда и расскажем миру всю правду. Ты снимешь кинокартину, а я... что ж, может быть, понадобится, чтобы кто-то вышел на трибуну и сказал: «Да, господа,

так оно и было, Зденек все верно описал. Я, Эрих Фрош, свидетельствую об этом!»  
Писарь закончил свою тираду и подмигнул чеху: вот, так-то, мол.

— Ну?

Зденек недоуменно глядел на Эриха. «Какая же ты дрянь!» — думал он.

Писарь подошел и взял его за рукав.

— Вижу, что ты все еще меня не понял. Но я тебе объясню. Эти свои заметки ты брось. Уж если хочешь записать что-нибудь, писал бы на своей чешской тарабарщине, зачем обязательно по-немецки? Ах, да, да — это письмо к Иолан! Но ведь именно такая пустяковая блажь может стоить тебе головы. На твоём месте я вообще не писал бы ничего. Голова у тебя молодая, держи все в памяти. Я бы все наблюдал, наблюдал, накопил бы в памяти тысячи интересных мелочей. Все это важно, все принесет тебе доход. Вот ты сейчас был на кладбище, хорошо, что ты его повидал. Шими-бачи, котенок на ограде, Иолан — все это отличный материал... Да ты куда?

Зденек с трудом оторвался от стола, закрыл глаза рукой, сделал два шага к двери.

— Понимаю, — снисходительно сказал писарь. — Слишком много впечатлений. Художники такой уж слабонервный народ... Я тебя сегодня больше не буду беспокоить. Да погоди же!..

7.

В половине девятого вернулись рабочие команды со стройки. Было совсем темно, только у ворот светили два мощных рефлектора.

— Давай уголь! Быстро! — орали часовые и с ведерками обходили шеренги. Одни узники сразу же [399] бросали им пару кусков, другие — только после того, как получали оплеуху. Некоторых заставляли поднять руки и обыскивали.

— А ты что? — конвойный толкнул капо во второй колонне. — Ты не ворует уголь? Слишком тонко воспитан?

Это был Карльхен. Он не терпел такого обращения. Левая рука его стиснула палку.

— Обыскивайте вон Мотику, у него полные карманы!

Конвойный оглянулся. В двух шагах от него стоял грузный грек, оживленно разговаривая с Дейбелем.

— На этого у меня руки короткие, он для господ повыше меня. Давай уголь!

— Слушайте, — сказал Карльхен, стараясь сдержаться. — Как вы со мной обращаетесь? Не знаете разве, что мне скоро дадут такую же форму, как ваша?

И он показал на свой зеленый треугольник.

Конвоир размахнулся и вlepил ему пощечину.

— Я честный солдат. Не смей оскорблять нашу армию!

Карльхен так опешил, что даже не защищался. Он вынул из кармана кусок угля и швырнул его в полупустое ведро.

— Вот то-то! — усмехнулся конвойный и пошел дальше. — Вояка!

Куски угля теперь падали чаще, через несколько минут ведро было полно.

Соседи Карльхена и бровью не повели, только юный Берл прильнул к нему и прошептал:

— Почему вы спустили ему это, герр Карльден? Вы же можете пожаловаться обершарфюреру, вы — немец.

— Заткнись, — прошипел капо. — Привлекать к себе внимание, да? А кабы меня обыскали и нашли... сам знаешь что. Из-за тебя я все это стерпел, вот что!

— Да, герр Карльхен, — уныло сказал Берл и притих.

Капо Карльхен был тугодум и обычно не утруждал себя размышлениями. Но сейчас затрещина от какого-то ничтожного конвоира ввергла его в безрадостное раздумье. Призыв в армию, видимо, отпал, зря я радовался, что выберусь из Гиглинга. Надо готовиться провести здесь всю зиму, надо рассчитывать только на реальные возможности и найти местечко потеплей... До сих пор Карльхен не думал обо всем этом, пусть, мол, другие беспокоятся. Он видел, как усердствует боров Мотика. Ну и [400] черт с ним! Дейбель после Фрица выбрал себе этого грека, — разве его выбор не лучшее доказательство того, что в лагере уже не рассчитывают на «зеленых», что «зеленые» уйдут в армию?..

Выходит, однако, что Карльхен просчитался, и теперь нужно поправлять дело.

В барак Карльхен вошел полный энергии и сразу же раскричался, увидев, что ему не подано на стол.

— Это что же такое, штубак? Вот я тебе отполирую морду!

Дрожащий штубак вытянулся в струнку и доложил, что после обеда был обход: кюхеншеф Лейтхольд и две кухарки прошли по баракам и собрали все миски.

— Что еще за новость! Может быть, мне стоять в очереди, как какому-то мусульманину? Берл, принеси воды умыться!

Карльхен вытянул рубашку, заправленную в брюки, и снял ее через голову. Штубак отступил на два шага и сказал, что миску, в которой обычно умывается герр капо, тоже унесли. Карльхен, полуголый, толстый, потный, стоял в полном недоумении: что же это творится? Берл подскочил и вынул кусок шпига, который был засунут у капо сзади за пояс, вплотную к голому телу.

— Я достану миску, не беспокойтесь. Я сейчас вернусь...

Берл бросил шпиг на стол и поспешил к выходу, но Карльхен удержал его.

— погоди, парень, дело не так-то просто. С этим надо покончить раз и навсегда. Дай-ка мне рубаху, я пойду сам. А ты пока что возьми шпиг и рассчитайся с французом. И чтобы через минуту опять был здесь!

Пряча шпиг под пальто, Берл шел по чужому бараку. Сердце у него колотилось, он не знал, куда деть руки-ноги. Сидевший за столом Жожо встретил его приветливо.

— А-а, mon petit <малыш (франц.)>! — улыбнулся Жожо. — А где же твои вещи? Ты уже отметился в конторе? — продолжал француз. — Или лучше мне самому сходить за пропуском для тебя?

Берл зарделся. [401]

— Герр Жожо, вы знаете, как мне хотелось перейти к вам... Но ничего не выходит. Герр Карльхен меня не отпускает. В армию его не берут, он остается в Гиглинге...

Вот он вам возвращает это... и велит передать, что сделка не состоится.

Берл вынул шпиг, положил его перед французом и, потупив глаза, хотел уйти. Жожо взял его за талию.

— Карльхен еще на стройке приставал ко мне с этим шпигом, — усмехнулся он. — Но я отказался. Разве ты не знаешь?

Берл уклонился от руки, которая взяла его за подбородок.

— Герр Карльхен думал, что вы предпочитаете получить шпиг здесь, в лагере. Здесь вы его дали, здесь и получаете обратно. Он говорит, что вы опасались обыска в воротах.

— Нет, нет, *chêgi* <дорогой (*франц.*)>. Я этого шпига не возьму, потому что не отступлюсь от сделки. Я за тебя заплатил, я подождал до четверга, с моей стороны все условия выполнены. Теперь ты переселишься сюда и будешь служить у меня.

— Герр Жожо! — Берл поднял длинные ресницы. — Никак нельзя, право, никак нельзя. Вы не знаете герра Карльхена...

— Ты ведь хотел учиться по-французски! Скажи-ка «Месье Жожо»...

— Месье Жожо...

— *Je vous aime beaucoup* <Я вас очень люблю (*франц.*)>...

Берл покачал головой.

— Пожалуйста, герр Жожо, не смейтесь, но я никак не могу остаться у вас. — И он шепнул, почти касаясь губами уха француза. — Он убьет нас обоих. Факт!

— Ох, и кокетка же ты! — Жожо снисходительно хихикнул. — А я тебя не уступлю. Посиди-ка здесь, я сам пойду поговорю со страшным Карльхеном. Шпиг мы ему все-таки вернем...

— Нет, — умолял Берл. — Не делайте этого, месье Жожо. Он страшный человек... у него топор под матрацем... [402]

— Не ломай комедию! — Жожо шутливо погрозил пальцем. — По-моему, ты был бы очень рад, если бы я из-за тебя подрался с Карлом. Чтобы весь лагерь говорил: «Вон идет красавчик Берл! Два капо из-за него дрались топорами!»

Юноша выскользнул из рук Жожо и сердито надул губы.

— Не верите! Ну, так попробуйте. Карльхен меня не отдаст!

— Я тебя купил, — сказал Жожо, снова протягивая руку. — Сделка есть сделка, на этот счет у нас строго.

Но Берл увернулся еще раз.

— Не ходите хоть сегодня, он сейчас очень злой. Пожалуйста, не ходите сегодня, месье Жожо! — И он побежал к выходу.

\* \* \*

В конторе Карльхен долго чертыхался и только потом дал высказаться писарю.

— Чего ты, собственно, хочешь? — прохрипел Эрих. — Так расхотелся из-за двух мисок! Согласись, что мусульманам надо пораньше отужинать и...

Карльхен снова забушевал. Писарь невозмутимо глядел на него сквозь очки.

— Слушай, — сказал он наконец, когда Карльхен умолк. — К чему все это, ведь ты завтра, может быть, последний день в лагере.

— Не треплись! — отмахнулся Карльхен и рассказал об инциденте с конвойным.

— Вправду он тебя треснул? — засмеялся писарь. — Это тебе на пользу. Но ты не придавай этому большого значения. Завтра... — Эрих встал и шепотом сообщил на ухо Карльхену важную новость. — Рапортфюрер мне оказал, что завтра утром в лагерь приедет доктор эсэс Бланке. Зеленые не пойдут к Моллю...

— Значит, призыв будет здесь, на месте?

— Дай мне договорить. О призыве я ничего не знаю, но дело в том, что Копиц хочет произвести впечатление на этого доктора и показать ему несколько здоровых и крепких ребят. В лагере сегодня была катавасия: слышал ты, что Дейбель застрелил Шими-бачи? Ага, так садись и слушай. Как ты знаешь, Оскар хотел сегодня утром рапортовать, что в лагере тиф. Копиц не допустил [403] этого. Потом он позвонил доктору Бланке и доложил ему, что в лагере есть больные с высокой температурой. Бланке приедет завтра, надо, чтобы у него осталось хорошее впечатление от лагеря. О тифе никто и не заикнется...

— А почему?

— Он еще спрашивает! Да ведь если на нас из-за эпидемии наложат карантин, не бывать тебе новобранцем!

— Я и так не верю, что попаду в армию. Мне уже и не хочется.

— А сидеть в лагере под карантином хочется? Тогда ведь ничего не достанешь из-под полы? И потом ты, как старый хефтлинк, должен знать, что лагерь с больными мусульманами — опасное место. От него недалеко и до газовой камеры!

— Что верно, то верно. А кто, собственно, хочет карантина?

— Оскар, я же тебе говорю.

— Оскар — сволочь! У него уже на совести Пауль, а теперь вот Шими-бачи...

— Вот видишь, — сказал писарь, радуясь, что наконец натолкнул тупицу Карльхена на нужный вывод. — Теперь тебе ясно, что надо сделать? Сегодня вечером ты и Коби зайдете в больничные бараки и объявите там во всеуслышание: «У вас только жар, и больше ничего. Если завтра кто-нибудь посмеет обмолвиться немецкому врачу, что у него сыпняк, мы его собственноручно пристукнем». Понятно?

Карльхен усиленно думал, шевеля губами, словно повторяя что-то, потом вдруг махнул рукой и проворчал:

— Хотел бы я знать, при чем тут пара мисок, из-за которых я сюда пришел?

Эрих похлопал его по плечу.

— Все это тесно связано. Наши враги в лагере рвутся к власти, защищают мусульман, хотят карантина, хотят расширить лазарет, ускорить раздачу ужинов и прочее. Но вот погоди, мы снова возьмем лагерь в свои руки, тогда и ты наведешь порядки по своему вкусу — и с мисками и со всем. Не так ли?

\* \* \*

Пока в конторе происходил этот разговор, Зденек расхаживал перед кухней. Гонзу он нашел быстро, тот [404] топтался в хвосте очереди, к нему было нетрудно подойти, и сегодня он оказался гораздо разговорчивее, чем в прошлый раз. С веселой искоркой в глазах Гонза рассказал Зденеку новость со стройки. От Иржи на этот раз ничего не было, но Гонза беседовал с его ближайшими друзьями. Они сообщили, что староста их лагеря, немецкий политзаключенный Густль, уже начал обрабатывать своего рапортфюрера.

— Судя по всему, к нам скоро переведут группу заключенных, среди которых будет и Иржи... Тебе предстоит много работы, — шептал Гонза. — Не думай, что ты ограничишься заботой о своем брате. Партия пошлет сюда целую группу людей, и мы обязаны помочь им пережить эту зиму. Что скажешь, можем мы это обещать?

Зденек решительно кивнул. Он понимал, что это будет нелегкая задача, и изо всех сил старался прогнать мрачные мысли, которые одолевали его сегодня, глупые мысли о смерти, грязи и тщетности всех усилий. Перед ним поставлена ясная задача, вполне конкретная, прямо-таки физически ощутимая, за которую можно сразу взяться. Не дать умереть Иржи и другим товарищам, заботиться о них, о том, чтобы они ели, чтобы больные не ходили на апельплац или на работу, чтобы по возможности не мерзли и не падали духом. Чтобы они пережили зиму! Сейчас еще только вторая половина ноября, за ним декабрь, январь, февраль, март... здесь, в горной местности, еще и март может быть холодный... И все же это в общей сложности всего лишь сто двадцать, максимум сто сорок дней. Цель уже видна, она перед глазами, каждый вечер мы будем ложиться спать с улыбкой, потому что каждый новый день приближает нас к этой цели...

— Можем обещать! — повторил он и взял Гонзу под руку. — А теперь скажи мне, какие заболевания там, в пятом лагере?

— Фредо откровенно сказал им, что у нас сыпняк. Это было для них неожиданностью, но они сказали, что и у них много больных с подозрительно высокой температурой. Врачи у них там все новички, без лагерного опыта, надо их предостеречь. Наши товарищи сделают это. Во всяком случае, в первую группу, которая будет переведена к нам, они подберут людей, уже болевших тифом.

— А Ирка? [405]

— Не бойся, он тоже будет в этой группе. Он перенес тиф в Гросс-Розене.

— Слава богу! — воскликнул Зденек с таким нескрываемым облегчением, что сам смутился. — Я не верующий, ты не думай!

Гонза улыбнулся.

— Главное — это то, что ты воскликнул «слава богу», обрадовавшись не за себя, а за других и не думая о том, что с нами самими дело может обернуться довольно паршиво. Фредо и другие наши старички уже перенесли тиф в Варшаве. А можем мы с тобой быть уверены, что не умрем от него здесь?

— Для меня вопрос ясен, — сказал Зденек, улыбнувшись впервые за весь этот день. — У нас просто не будет времени умереть!

\* \* \*

Пять часов утра, противный хмурый день, переключка на апельплаце. За ночь снег толстым слоем покрыл дорожки. Апельплац освещен рефлекторами, как цирковой

манеж. На манеже Дейбель без пальто, в высоких сапогах делает утреннюю зарядку. Изо рта у него идет пар. Он поднимается на носки, приседает, руками в замшевых перчатках сгибает красный кабель, разминает все суставы, со вкусом вдыхает и выдыхает воздух, выпячивает грудь, наслаждается, показывает этому стаду дохлятин, что такое «Kraft durch Freude» [\[26\]](#).

— Alles antreten!

Дейбель сегодня не ночевал в комендатуре, он переспал у молодухи, которая вчера жаловалась на «слабое сердце». Отпирая ему калитку, она смеялась: «Что ж вы не взяли с собой доктора?» Он ответил ей в тон: «Я взял с собой все, что нужно, не беспокойтесь, фрау!»

— Alles antreten!

Убийца! Весь лагерь знает, что Дейбель — убийца. Люди глядят на его глубоко посаженные голубые глаза, на крепкий подбородок и светлую кожу чисто выбритого лица, на тупой твердый носик и ровные зубы под ним. Головорез! Как не дрожать перед Дейбелем, когда стоишь тут в грязи и в снегу, одетый в лохмотья, натянув [406] шапочку на стриженую голову и озябшие уши. Убийца делает зарядку, а ты дрожишь на холоде. Ты не можешь вцепиться этому фашисту в горло, ты должен искать левофлангового и становиться в строй. Но запомнить Дейбеля ты можешь навсегда, навеки, запечатлеть в своей памяти его облик. «Не прощу, никогда не прощу!» — можешь шептать ты в бессильном гневе.

\* \* \*

Все выстроились в шеренги, работоспособные — слева, врачи и больные — справа. Вот появляется рапортфюрер со своей трубочкой, и начинается главная сенсация этого утра:

— Revierältester, vortreten! <Старший врач, выйти из строя! (нем.)>

Оскар выбегает из шеренги и спешит к эсэсовцу, уверенный, что сейчас получит «двадцать пять» или что-нибудь похуже. Но Копиц не командует: «Спускай штаны!», только: «Снимай повязку!»

«Больше я не старший врач», — мелькает у чеха, и он даже рад этому.

Затем другая сенсация:

— Стань в строй, назначаю тебя капо на внешних работах. Санитар Пеппи ко мне!

Оскар поворачивается направо кругом и бежит на левый фланг, к Фредо, который встречает его ободряющей улыбкой. К эсэсовцам тем временем подходит Пеппи, ест их глазами. Он и представления не имеет, какую игру затеяла с ним комендатура.

— С сегодняшнего дня ты старший врач! — говорит Копиц. — Инструкции получишь позднее.

— Jawohl! — гаркает санитар. Головорез Дейбель ухмыляется и подает ему повязку Оскара.

— Ich gratuliere! <Поздравляю! (нем.)>

— Besten Dank <Премного благодарен (нем.)>, — по-солдатски отвечает Пеппи, косясь на Оскара: не подумал бы тот, что это его, Пеппи, интриги.

Потом раздаются еще несколько отрывистых приказов. «Зеленые» сегодня не идут

на внешние работы, [407] зато туда отправятся все больные, которым не хватило места в лазарете. Все без исключения!

— У меня высокая температура, — плачет один из пострадавших.

Дейбель пружинистой походкой подходит к нему.

— А сколько?

— Вчера вечером было сорок.

Дейбель усмехается.

— А башмаки у тебя какой номер? Сорок два?

Больной стоит раскрыв рот, глаза у него, как стеклянные, все как-то расплывается перед ним, он смотрит в лицо Дейбеля, но видит только кокарду с черепом на эсэсовской фуражке. Узник переводит взгляд ниже, но и там лишь мундир с блестящими пуговицами.

— Чего глаза вытарасил? — кричит Дейбель, — говори, что выбираешь: башмаки номер сорок два или жар сорок градусов. Если хочешь оставаться в лагере, садись и разувайся.

Узник слышит плохо, но насчет башмаков он понял. Нет, он не отдаст их. И он, шатаясь, идет по снегу, налево, к рабочей команде.

— Also fertig? <Итак, все готово? (нем.)> — осведомляется Копиц.

Дейбель подтверждает, что все готово.

Лагерный староста Хорст командует:

— Marschieren Marsch! Links, zwei, drei, vier, links... <Шагом марш! Левой, два, три, четыре, левой... (нем.)>

\* \* \*

После ухода рабочих команд в лагере обычно воцарялся покой. Гасли рефлекторы, блоковые и штубаки возвращались в опустевшие бараки, чтобы поспать еще часа два. Теперь, в тишине и спокойствии, можно по-настоящему задать храповецкого.

Но сегодня все было иначе. Эсэсовцы не ушли к себе, рефлекторы не погасли, и даже могильщикам позже, когда рассвело, не разрешили начать свое дело.

— Grossreinemachen! — сказал Дейбель, щелкнув кабелем по голенищу. — Капитальная уборка!

Штубаки, взяв веники, принялись подметать главный проход в своих бараках и часть улицы перед ним. Стружку на нарах нужно было разровнять и аккуратно [408] уложить на нее одеяла. Уголки блоковых, столы, кружки для кофе, фасадные окна — все должно было сверкать чистотой.

Не успели блоковые и штубаки как следует прибрать в своих бараках, как за ними уже пришли «зеленые», главные распорядители всей этой уборки. Половину штубаков они погнали к уборным, остальных — в больничные бараки. Там было особенно много работы, санитары с ней не справлялись. Немало было шума, крика, ненужных осложнений. Уборщики пинали ногами ведерки, вытряхивали одеяла, проветривали помещения. Полураздетые больные жаловались и плакали, не зная, чем все это кончится.

После уборки лагерь выглядел так же неприветливо, как и до нее. Черный и грязный, лежал он в протоптанном снегу, земляные проходы в бараках, сколько их не подметали, остались сырыми и грязными, стружка, хоть ее и разровняли, не перестала быть стружкой и приставала к одежде. В общем лагерь остался таким, каким и был, — вопиюще убогим.

Но эсэсовцы верили в оперативность. Там, где все было в движении, где много кричали на людей и били их, там эсэсовцы видели успех, сдвиг, перемену к лучшему, благой результат своих приказов. Только через два часа после того, как тотенкоманда дважды съездила на кладбище и мертвецкая ненадолго опустела и даже была выметена, лагерное начальство потеряло руки и, удовлетворенное, ушло в комендатуру. Теперь пора и им самим подготовиться к приему высокопоставленного гостя.

Точно в девять, как было условлено, к воротам лагеря подкатила машина. Копиц, Дейбель и Лейтхольд выскочили навстречу и вытянулись во фронт. Они были тщательно причесаны, застегнуты на все пуговицы.

Но из машины вышел всего лишь какой-то эсэсовец в таком же низком чине, как и кюхеншеф, — всего навсего шарфюрер. Это был низкорослый, худенький молодой человек, в очках, с крутым лбом и густой, но уже редющей шевелюрой, он тоже стал «смирно» и отрапортовал:

— Sanitätsgehilfe Tischer zum Befehl! <Лекарский помощник Тишер, честь имею явиться! (нем.)> [409]

Копиц почесал за ухом и, не скрывая разочарования, спросил:

— А штурмбанфюрер герр Бланке?

— Велел передать, что, к сожалению, занят и посылает меня.

— Вольно!.. А ты врач?

— Никак нет. Прослушал три семестра медицинского факультета.

— Ну все-таки, значит, медик. Заходи, приятель.

Настроение у хозяев было кислое. В глубине души Копиц и Дейбель, правда, радовались: обработать этого типа будет легче, чем Бланке... Но зачем, спрашивается, весь этот утренний переполох — уборка, гонка, оперативность? Начальство в Дахау даже не удостоило нас порядочного инспектора.

— А тебя проинструктировали, что надо делать? Дали тебе какие-нибудь полномочия? — проворчал рапортфюрер, когда вся компания как-то смущенно уселась за стол и Дейбель раскупорил приготовленную бутылочку.

— Нет, я ничего не знаю. И мандата мне никакого не дали. Моя фамилия вам, наверное, мало говорит...

«Тишер?» — мысленно задавался вопросом Копиц и взглянул на Дейбеля, словно спрашивая: не знаешь ли какого-нибудь генерала Тишера?

— Мой отец — профессор Матхаус Тишер, — медленно сказал молодой человек, ероша каштановую шевелюру. — Тот самый известный физик Тишер, который...

— Ах, вот что! — обрадовался Копиц. Ну, конечно, он так и думал, что перед ними чей-то сыночек с протекцией. Копиц был особенно доволен тем, что Тишер не

оказался отпрыском неизвестного Копицу генерала, ибо рапортфюрер наизусть знал фамилии почти всего германского генералитета и гордился этим.

— Вы говорите, физик Тишер, который... что? — осведомился он у молодого человека.

— Извините... Я вижу, вы о нем ничего не знаете, Скажу откровенно, я тоже не совсем понимаю, чем занимается папаша. Какие-то выкладки, атомы, нейтроны, позитроны. По-зит-роны! — Он засмеялся, словно это была острота, и хлопнул себя по ляжкам. — Короче говоря, он ужасно знаменит. На прошлой неделе фюрер снова приглашал его к себе, в ставку.

Сидевшие за столом на минуту замолчали. [410]

— С вашего разрешения, камарад, — Дейбель собрался с духом и хотел налить Тишеру рюмку.

— Нет, благодарю, — сказал тот с серьезным видом. — Алкоголь, табак и мясо — все это я не приемлю. Знакомы вы с методом жевания по Флетчеру?

Трое эсэсовцев уставились на юнца, который уселся, перекинул ногу на ногу и, видимо, собирался прочесть им пространную лекцию об этом методе.

— Метод Флетчера требует прежде всего тщательного разжевывания пищи. Для каждого глотка предусмотрено точное количество жевательных движений... — тут он взглянул на часы и быстро встал. — Девять часов. Простите, господа, где тут у вас клозет? По утрам я принимаю слабительное, и вы сами понимаете...

Все встали, как замороженные. Дейбель вывел Тишера в коридор и указал ему нужную дверь. Потом он вернулся в комнату, и все трое расхохотались: Дейбель бросился Копицу на шею и ржал: «Ну и пентюх, боже, ну и пентюх!»

— Тише, Руди! — хихикал рапортфюрер. — Зачем так громко? И налей-ка нам по рюмочке.

Дейбель поднял рюмку.

— Как он сказал? Что делает его папочка?.. Прóзит!

\* \* \*

Когда через четверть часа Тишер вернулся, рапортфюрер взял его под руку и повел в лагерь. Молодой человек во все вникал, все хвалил. Он с любопытством оглядывал строения и отметил, что здесь все выглядит точно так же, как и в лагере номер четыре. Вот только мертвецкая там находится в правом углу, здесь в левом. «Ваше размещение, очевидно, целесообразнее?» — осведомился он. Копиц не знал, что отвечать.

Тишеру показали одиннадцать зеленых немцев и обратили его внимание на то, какие все они упитанные и здоровые. Не хочет ли он посмотреть их голыми?

— О нет, спасибо, — быстро сказал Тишер. — Безусловно, не хочу!

— Как по-твоему, — шепнул ему Копиц, — возьмут их на фронт или это была ложная тревога?

— Должны бы взять, — Тишер задумался. — Бравые немцы, а? На фронте нужны люди... — И он сам наклонился к уху Копица. — Ты, камарад, человек пожилой, [411] насчет тебя дело ясно. Но не следует ли нам послать на фронт коллегу

Дейбеля? Он такой крепкий...

— Это было бы ошибкой! — испугался рапортфюрер. — Он крайне нужен в лагере. Или ты думаешь, что на фронте он истребит больше врагов Германии, чем истребил здесь?

— Здесь? — удивился Тишер.

— Да, да! — подтвердил Копиц. — Он просто молодчина. Не далее как вчера...

И он рассказал о неудавшейся попытке врача венгра бежать из лагеря вплавь, через реку Лех. Гость удивленно качал головой: «В такой холод прыгать в воду! Какой он отчаянный, этот врач!»

Было видно, что у него самое лучшее впечатление от лагеря. Потом рапортфюрер вызвал из группы зеленых Пепи с повязкой старшего врача.

— С ним ты легко найдешь общий язык, — сказал Копиц. — Это дурачок Пепи, медик, как и ты, а сейчас глава нашего лазарета.

— Очень рад, — кивнул Тишер. — А почему вас называют дурачком? В шутку?

— Хороша шутка! — усмехнулся Копиц. — Расскажи ему, Пени, что ты мне рассказывал в Варшаве. О той лечебнице, где тебя поливали холодной водой и одевали на тебя смирительные штаны...

— Вы хотите сказать — рубашку? — несмело возразил Тишер.

— Именно штаны. У Пепи бывали приступы полового бешенства — он вам потом скажет, как это называется по-латыни, *coitus tremens*, что ли? Ему всегда приходилось надевать смирительные штаны. Верно, Пепи?

Ошеломленный Тишер уставился на нового главу лазарета.

8.

На стройке был обеденный перерыв. В глубине полой горы, на дне долины и наверху, на своде, — всюду слышался шум, гул, звяканье. Из паровозных гудков вырывался пар и застывал в холодном воздухе, похожий на сбитые сливки. «Mahlzeit» — бурчали мастера, вытирая руки паклей. Заключенные, не ожидая приказа, строились [412] в шеренги, бригады вели их в [кантину](#) {27}. Капо по одному подходили к особому окошечку.

— Послушай, Жожо! — окликнул Гастон своего земляка. — У меня к тебе дело. Скажи этому парню, чтобы отошел, нам надо поговорить наедине.

— Берлу? А зачем? У меня от него нет секретов. Да он и не понимает по-французски. — Жожо не снимал руки с плеч Берла, с которым шел в обнимку.

— Видел бы тебя сейчас Карльхен! — сердито сплюнул Гастон.

— Карльхен остался в лагере, — засмеялся Жожо. — Кто знает, может быть, доктор из Дахау сегодня же отправит его в солдаты.

— В твои постельные делишки я не вмешиваюсь. Но говорить с тобой мне надо с глазу на глаз. Отошлешь ты этого парня или нет?

— Это что, приказ?

— Не мой, а кое-кого повыше.

— Je m'en fiche! <А мне наплевать! (франц.)>

— Жожо! — Гастон остановился, приподнял плечи, сжал кулаки.

— Хочешь подраться? — усмехнулся Жожо, но предусмотрительно снял руку с плеч Берла.

— Нет, не стану мараться. — И Гастон снова сплюнул. — Обидно вспомнить, чего ты только не наобещал, когда в Варшаве мы спасли тебя от штрафного лагеря.

Жожо слегка подтолкнул Берла.

— Иди вперед, малыш, я тебя догоню. — И он обернулся к Гастону. — Верно, обещал.. Ну, а вы выполнили свои обещания? Где конец войны? Где красное знамя над Берлином? Мне надоело ждать! Жизнь коротка. Пришло мое время, почему бы мне не пожить в свое удовольствие?

Гастон смерил его брезгливым взглядом.

— Кругом мрут люди, а Жожо хочет пожить в свое удовольствие. Торговать зубами мертвецов, сбивать цены Мотике, конкурировать с самим Дейбелем! Ловкач этот Жожо! Купил себе Берла и называет это жить в свое удовольствие. Пусть себе Франция и все остальное...

— Пусть! — сказал Жожо. [413]

Гастон повернулся на каблуках и отошел, сжав кулаки в карманах. Ему не хотелось никого видеть. Вдруг он споткнулся. Кто-то подставил ему ногу. Это был Мотика.

— Что еще за дурацкие шутки? — огрызнулся Гастон.

Толстый грек с довольным видом расселся на камне у дороги и намазывал хлеб маргарином.

— Не злись, — подмигнул он элегантному французу. — Хочешь кусок?

— Нет, мерси.

— Погоди-ка. Для тебя, видно, мои манеры недостаточно изысканы? Тогда погляди-ка на своего дружка, нового капо Оскара. — Не поднимая глаз от хлеба, Мотика слегка кивнул головой вправо. — Вон он там сидит.

Гастон взглянул. В самом деле, там сидел чех-доктор с миской похлебки на коленях и крошил в нее сухие корки. Взгляды француза и чеха встретились, и они дружески кивнули друг другу.

Мотика, все еще не поднимая глаз, усмехался. «Погляди-ка на его манеры! Каков господин интеллигент! Крошит корку в суп, жрет, как свинья силос, а еще называется европеец!»

Гастон чуть не вытаращил глаза: не ослышался ли он? Здесь, в этой гнусной дыре, кто-то обеспокоен отсутствием хороших манер. И кто же, Мотика?!

Он молча зашагал и только через несколько секунд рассмеялся громко и зло, скаля зубы.

\* \* \*

Потом он повстречал Фредо.

— Имей в виду, что Жожо совсем оторвался от нас, — проворчал он вместо

приветствия, — я даже не передал ему твоего поручения. Партия уже не может на него рассчитывать. Если так пойдёт и дальше...

Фредо кивнул.

— Вижу, что ты не в духе. А я наоборот. Если нам не поможет Жожо, поможет еще кто-нибудь. Хороших людей хватает, их всегда больше, чем плохих. Не обратится ли нам к Дереку? Или погоди, давай сделаем иначе, надо же привлекать новых людей. Что ты окажешь насчет Оскара?

Гастон удивленно поднял взгляд.

— Хороший человек, но не наш. У него в голове какая-то мешанина. Считает себя гуманистом, политики сторонится. [414]

— А может, и не будет сторониться, — возразил Фредо. — Мне всегда казалось, что он не так-то далек от нас. Если он получит хорошую встряску... а это, кажется, как раз случилось. Вчера у него был какой-то неприятный разговор с рапортфюрером, потом произошло это несчастье с Шими-бачи. Оскар уже другой, вот увидишь. Прежде он все ссылался на свой врачебный долг, теперь он больше не врач, его убрали из лазарета.

— Я не против, можно попробовать. Но поговори с ним ты сам, ты его знаешь лучше, чем любой из нас. А теперь скажи мне, с чего это ты так развеселился?

— Мастер дал мне вчерашнюю газету, — прошептал Фредо, похлопав себя по карману. — Вечером я тебе ее покажу. «Фолькишер беобахтер» предостерегает западные державы и при этом цитирует Сталина. Представь себе, последнюю речь, произнесенную седьмого ноября! Теперь мы знаем не только то, что он действительно выступал на Красной площади, но и что он сказал. «Советский народ спас европейскую цивилизацию» — вот его слова. Нацисты теперь визжат в адрес Англии: «Зарубите себе это на носу. Если то, что спасли большевики, действительно европейская цивилизация, так вам, мол, придется несладко!» И так далее. Но для нас, разумеется, интересно в газете не это. Важно то, что Сталин сказал «спас». Понимаешь, не «спасает» или «спасет», а *«спас»* — Фредо улыбнулся. — Так что можешь и ты развеселиться!

\* \* \*

Фредо в тот же день поговорил с Оскаром. Он не стал пускаться с ним в принципиальный спор, а спросил только, хочет ли Оскар участвовать в подпольной операции на моллевской стройке. Врач сразу согласился, и Фредо объяснил ему что и как делать.

Но на следующее утро произошла одна из тех непостижимых перемен, которые часто случались в Гиглинге, и уговор с Оскаром пошел насмарку. Как только рабочие команды выстроились на апельплаце, пришел Копиц с трубочкой и вызвал из рядов Оскара.

— Ты опять будешь в лазарете, — сказал он с усмешкой.

И больше ничего!

Правда, повязку старшего врача Оскару не вернули, [415] но Пепи позднее признался, что ему было велено во всем слушаться Оскара.

Что все это означало, догадаться было нетрудно. Вчера эсэсовцы спланировали Оскара

на стройку, потому что боялись, что он скажет следователю из Дахау правду о сыпном тифе. Сначала Копиц пытался повлиять на Оскара угрозами, потом, после убийства Шими-бачи, комендатура снова усомнилась в надежности старшего врача и предпочла удалить его из лагеря. Но почему же сегодня Оскара вернули в лазарет? Окончилась врачебная инспекция так уж благоприятно для рапортфюрера, или он просто понадеялся на глупость Тишера и решил, что можно ничего не бояться? Значит, комендатуре не грозят никакие неприятности и вопрос о сыпном тифе уже не сдвинешь с места?

Никто не знал этого, а у Оскара даже не было времени поговорить или хотя бы попрощаться с Фредо. Тот издали успокоительно кивал головой: мол, не беспокойся, кто-нибудь другой заменит тебя у Молля. Оскар в свою очередь приподнял плечи и с сожалением улыбнулся: рад бы помочь вам там, но, надеюсь, от меня и здесь будет польза.

Рабочие команды промаршировали в ворота, а Оскар остался в лагере со своими больными. Но не он один был так неожиданно освобожден сегодня от внешних работ. Еще в начале переключки Дейбель вызвал из рядов капо Карльхена, который, как и все «зеленые», снова попросился на работу. Никто из заключенных не знал, почему Карльхена оставили в лагере. Команды ушли, с ними и Берл. Карльхен тщетно искал возможности хотя бы кивнуть ему и погрозить пальцем: мол, веди себя хорошо.

Ворота закрылись, рефлекторы погасли, в лагере наступила тишина. Блоковые пошли еще немного вздремнуть. Только в кухне и в конторе уже работали.

Зденек уселся перед картотекой живых и начал ежедневную процедуру: взял большой лист бумаги — только для этой цели комендатура и не жалела их — написал на нем крупно, печатными буквами: «Выбыли, причина — смерть».

Порядок был такой: в течение всего дня, но главным образом рано утром, еще до переключки, в контору приходили штубаки с бумажками — рапортчиками об умерших. Зденек собирал эти клочки бумаги, накалывая их на [416] гвоздь в столе, вынимал соответствующие карточки, ставил дату и причину смерти (разумеется, «сердечная недостаточность»!), а потом делал для комендатуры общую сводку на большом листе бумаги. Работа шла в общем быстро. Чтобы не делать ошибок, надо было работать механически, не размышляя о судьбах людей, над которыми он ставил последнюю точку. Но вот он натолкнулся на фамилию доктора Шимона Гута, и рука Зденека дрогнула. Причина смерти здесь была иная, чем у других мертвецов. Зденек уже знал об этом, но рука не слушалась, не хотела написать: «Убит при попытке к бегству».

Зденек вспоминал...

С тех пор как в Германии власть захватил Гитлер, чехословацкие газеты не переставали толковать об ужасном смысле фразы «убит при попытке к бегству». И, как это обычно бывает, чем чаще что-нибудь твердят людям, тем менее отчетливо они себе представляют действительность, выраженную этими словами. Газеты хотели заклеймить бесчеловечный режим и произвол в Германии, взбесившихся мещан, организованных в СА и СС, убийства, ставшие заурядным явлением, расправы без суда, без справедливости, без смысла. Газеты были полны героических и негероических историй, и сотни их кончались одинаково: гитлеровцы убивали свою жертву под предлогом «попытки к бегству». Рабочий В.

пытался организовать стачку докеров, гестаповцы стащили его с импровизированной трибуны и... «убит при попытке к бегству»... Берлинский инженер Б. возвращался с женой из кино, двое пьяных эсэсовцев пристали к его жене, инженер вступился за нее и... «убит при попытке к бегству». В Лейпциге отряд штурмовиков ворвался в дом, чтобы разгромить квартиру еврея Р., но по ошибке попал этажом выше, в квартиру советника Л. Тот не пожелал впустить их и... «убит при попытке к бегству».

Все уже наслушались этих историй. Прага кишела немецкими эмигрантами, все они рассказывали подобные случаи. Пригласишь эмигранта пообедать, а он тебе за это рассказывает и рассказывает... Впрочем, слушать — этого было мало, эмигрантам нужна была более ощутимая помощь — деньги, лечение, ночлег. Кроме того, приходилось защищать их и все дело помощи от местных обывателей, от озлобленных выпадов в газете «Поledни лист». [417] («Еще немцев нам не хватало... Отбивают работу у наших... Натравят на нас Гитлера... Как будто у нас нет своих крамольников, которым тоже место в концлагере...»)

Зденек часто помогал тогда эмигрантам, но у него не было охоты прислушиваться к вечным предостережениям, рассказам о гестаповских застенках, о людях, застреленных «при попытке к бегству». Да и сама-то Прага переживала тяжкие времена, кризис давал себя знать на каждом шагу. Возьмешь, бывало, в закуской порцию сосисок, а пятеро безработных уже спрашивают, не останется ли у тебя хоть немножко картофельного пюре. А ведь еще нет никакой войны, на Вацлавокой площади горят неоновые рекламы, за опущенными шторами ночных дансингов гремят барабаны джазов, зрители в Освобожденном театре хохочут, глядя, как Верих {28}, приложив к верхней губе маленькую черную расческу, поднимает руку в «арийском приветствии».

Зденек ухаживал за красивой девушкой, неутомимо трудился, зарабатывал на жизнь, сдавал экзамены. Он был молод, ему хотелось поскорей попасть на киностудию и снимать прогрессивные фильмы. Не сторонился он и политики, ходил на митинги в Люцерну {29}, был в курсе всех событий, помогал, где мог, но самым главным для него было жить, жить, продвигаться вперед и вверх, срывать успехи самому, в *своем* деле.

В *своем*... Зденек знал, что происходило в мире, но старался спокойно относиться к этому, он умел выслушивать рассказы о Германии и как-то не слышать их. Концлагеря, пытки, расстрелы, — конечно, ему известно об этом, и он считает все это варварством... Но ведь это там, в Германии, а мы живем в Праге, и у нас есть собственные заботы. Рассказы беглецов из Берлина казались ему ходульными, пустыми, как вымолоченная солома.

Потом начались события в Испании, Мюнхен, первые массовые аресты и высылки. Зденек сам стал жертвой всех этих ужасов и очутился в Освенциме. Он был ошеломлен, он задыхался и на собственном опыте познавал теперь, что значат эти давно знакомые понятия: «гестапо», «эсэс», «концлагерь». Они как-то приблизились к нему, словно проникли в его тело. [418]

А вот теперь на очереди было «auf der Flucht erschossen» — «убит при попытке к бегству». Больше нельзя было притворяться, будто Зденек не знает, что это такое, — он сам был на кладбище, дышал запахом хлорной извести, склонялся над телом маленького врача, убитого выстрелом в грудь, помогал снимать с него

арестантскую одежду, а сейчас должен написать на этом белом листе лживый рапорт о его смерти.

Зденек медленно выводил «Убит при попытке к бегству», очень медленно, словно нарочно мучая себя за прежнее равнодушие, словно желая хоть сейчас почерпнуть в этих мрачных словах гневную силу и волю к действию.

\* \* \*

На рассвете Иолан открыла глаза. Она была уже не так бледна, как позавчера, но алые пятна на ее щеках не предвещали ничего хорошего.

Девушка не сознавала, где она находится. Снаружи слышались удары тяжелого молота, словно строят помост. «Карусель», — мелькнуло у Иолан. Сейчас лето, она живет у бабушки, к ним в селение приехала бродячая цирковая группа в большом фургоне, на площади вырастет маленький «луна-парк»: перекидные качели, тир и карусель.

Как приятно постукивает молоток! Тук-тук-тук, эхо не поспевает за ним... Слышно, как сбросили доски... трах! И опять стук молотка, такой четкий этим летним утром; слушать бы его и слушать!

Сиделка Маргит видит, что Иолан открыла глаза.

— Что, маленькая? Хочешь кофе? — она подает кружку холодной бурды и поддерживает голову Иолан. Та по-детски выпячивает губы, чтобы дотянуться до кружки, пьет и сияющими глазами глядит туда, откуда доносится веселое тук-тук-тук. — Потом между двумя глотками переводит дыхание и произносит первое слово:

— Карусель?

Маргит не сразу понимает, задумывается, потом, сообразив, быстро отворачивается.

\* \* \*

— С утра строите виселицу? Gar net schlecht! <Неплохо! (нем.)> — говорит Россхаупт, входя в главные ворота, и улыбается [419] плотнику Карльхену, который, опустив доску на землю, вытянулся перед надзирательницей в струнку. — Для кого же это?

-- Не знаю, фрау надзирательница. Приказ комендатуры.

Тем временем возгласы «Achtung!» эстафетой достигают кухни, и Лейтхольд, прихрамывая, уже спешит с ключами навстречу надзирательнице. Россхауптиха входит в женский лагерь и принимает рапорт Илоны. Сегодня Кобылья Голова много спокойнее, чем в прошлый раз. Размашистым шагом она направляется к третьему блоку, откуда как раз выходит сиделка с ведром.

— Стой! — командует Россхаупт. — Почему у тебя красные глаза? Ревела?

Маргит не знает, что ответить.

— А ну, говори!

— Бедняжка Иолан... — шепчет сиделка, кивнув головой в сторону барака, — думает, что на апельплаце строят карусель.

И Маргит бежит дальше.

Россхаупт останавливается около Иолан, лежащей с открытыми глазами, которые сияют так, словно она глядит на рождественскую елку. Но вот она видит надзирательницу, и лицо ее тускнеет, веки опускаются.

— Не спит, — говорит Россхаупт, стараясь забыть о мертвой сестре, на которую так похожа эта девушка. — Открой-ка глаза, слышишь? Ты должна поправиться. Я так хочу!

До Иолан, видимо, не доходят эти слова, но появление надзирательницы и ее голос сильно перепугали больную.

— Я говорю, ты должна поправиться! — повторяет Кобылья Голова. — Поняла?

— Jawohl, — шепчет бледная девушка с алыми пятнами на щеках.

-Ага! — усмехается Россхаупт. — Дело пойдет на лад.

И, довольная тем, что она помогла лечебному процессу, Россхаупт поворачивается и шагает обратно к калитке. Ожидавшему там Лейтхольду она говорит:

— Пройдем еще в кухню, но быстро, у меня мало времени.

По дороге она сообщает ему, что не допустит, чтобы [420] девушки перемерли в завшивленном лагере. «Все уже устроено, мы переведем их в другое место. Что окажешь?». У Лейтхольда подкосились ноги. У него отнимают Юлишку! Но он овладел собой и сказал:

— Мне все равно, фрау надзирательница. Вы, конечно, сами знаете, что полезнее для Германии.

Россхаупт вспомнил слова Копица о том, что кюхеншеф пугается с одной из кухарок. Она покосилась на Лейтхольда и тихо сказала:

— Ну да, я знаю, для тебя они только *номера*.

— Да, — ответил Лейтхольд, и его стеклянный глаз злобно уставился в пространство.

Россхаупт прошла из конца в конец кухни и уже направилась было к выходу. Вдруг что-то необычное во внешности Юлишки привлекло ее внимание.

— Кюхенкапо, подойди сюда!

— Битташон? — прошептала Юлишка, словно обращаясь к Лейтхольду, а не к Кобыльей Голове.

— Что это на тебе надето? Ну-ка, сними передник.

Молодая венгерка, не теряя уверенности в себе, развязала веревку, которая поддерживала на ней передник из мешковины, и предстала перед надзирательницей в брюках. Брюки были отлично сшиты и очень шли Юлишке... Пусть-ка Лейтхольд поглядит!

— Откуда это у тебя? — Голос надзирательницы был невозмутим и ничем не выдавал опасности, которая нависла над девушкой.

Юлишка выпятила грудь.

— На работе у меня порвалась юбка. Женской одежды в лагере нет, пришлось

взять эти брюки с мертвого мусульманина.

— Сидят безупречно, — признала Россхаупт. — А ну, покажись!

Юлишка повернулась, как манекенщица в ателье. Лейтхольд глядел на нее зрячим глазом и млеял. В глубине кухни, за котлами, Като с перепугу уронила большую поварешку. «Неужели никто, кроме меня, не понимает, что Юлишка просто спятила?»

— Не можешь поаккуратнее, ты, корова? — крикнула Россхаупт, когда поварешка прогрохотала на бетонном полу. Затем недовольство надзирательницы вновь сменилось безмятежным выражением, и она обратилась к Юлишке. — Подойди-ка поближе... [421]

Красотка повиновалась. Россхаупт была уверена, что теперь знает, в кого влюблен Лейтхольд.

— А спросила ты герра кюхеншефа, позволит ли он тебе такой маскарад?

— Ах, что вы, нет, — прощепетала Юлишка. — Я думала, что это неважно. Ведь на нас тут никто не смотрит.

Россхаупт сделала вид, что не замечает дерзкой кокетливости этого ответа.

— Кто тебе шил это?

— Никто, битташон. Я ношу их неперешитыми.

— Не ври! — все еще сдержанно сказала Кобылья Голова. — Крупные стежки по бокам сделаны не на машине. Кто-то перешивал брюки здесь, в лагере.

В кухне стояла мертвая тишина, все девушки замерли на месте, каждая, как и Като, поняла теперь, что беда на пороге. Да и Юлишка, видно, почуяла опасность.

— Ей-богу!.. — сказала она уже робко. — Может быть, их перешили в Освенциме... а мне достались такие.

— А куда делся полосатый кант, который вшивали там?

Юлишка опустила голову.

— Я получила такие... правда!

Россхаупт выпрямилась, судорожно сжала рукой свой форменный пояс, сдвинула кобуру с пистолетом на место, потом хладнокровно оказала:

— Я застала тебя в гражданских брюках. Это может означать только одно: ты готовишься к побегу. А за это заключенных отправляют на виселицу. Лейтхольд!

— Она отвернулась от побледневшей Юлишки и сурово взглянула на кюхеншефа.

— Идем в вашу контору! А этот «номер» пойдет с нами.

\* \* \*

Комнатка в углу, за перегородкой, была тесная, все трое оказались там еще ближе друг к другу, чем в кухне. Россхаупт прежде всего бросила взгляд на походную койку за дверью, и Лейтхольд проникся уверенностью, что Кобылья Голова обо всем догадалась, что она знает о его любви, о тех часах воздушной тревоги, когда Юлишка лежала тут одна...

Но что бы ни думала надзирательница, ее неподвижное, каменное лицо не выдавало этих мыслей. Она сунула руку в сумку и вынула плетку. [422]

— Насколько я помню, ты любишь раздеваться, — сказала она, — так сними-ка брюки. Прежде чем мы тебя повесим, ты окажешь нам, кто из девушек перешивал эти брюки. Она хотела помочь тебе бежать, вот мы и повесим вас рядышком.

По ту сторону низкой перегородки девушки, в кухне слышали каждое слово. Взявшись за руки, они жались друг к другу и ждали, что будет дальше.

— Я... я сама перешивала, — плача, сказала Юлишка.

— Опять врешь. Ты бы так не сумела. Ну-ка, пошевеливайся. Ложись на стол...

— Не бейте меня! — взвизгнула Юлишка. — Умоляю, не бейте! Я все скажу.

Като быстро переглянулась с подругами. Чего доброго, Юлишка погубит и беднягу портного!..

— Ты уже много врала, и я тебя проучу. Лейтхольд, ты посильнее, влепи-ка ей как следует. Я поддержу.

Кюхеншеф откашлялся раз, другой.

— Ну, скоро? — в голосе Россхаупт появились зловещие нотки.

— Герр кюхеншеф, пощадите! — Юлишка не договорила, ее голову прижали к столу.

— Я... не могу, — прошептал Лейтхольд. — Я... я инвалид. Для таких дел...

— Ах, вот как! — вскричала надзирательница. — Ты не хочешь наказать мерзавку, которая открыто готовилась к побегу? Час от часу не легче! Подай мне плетку!

\* \* \*

В коротких промежутках между ударами и ревом Юлишка выложила все: она купила старые брюки за две миски супа, Беа выстирала их, а чешский портной из четырнадцатого барака перешил. Его имя она выдала тоже: Ярда.

Россхауптиха, неся под мышкой скатанные брюки, зашагала в комендатуру, оставив полураздетую Юлишку лежать на полу. Лейтхольд запер кухню и поспешил за надзирательницей.

— Achtung! — крикнул капо у ворот. Писарь выбежал из конторы и вытянулся в струнку.

— Хорошо, что ты мне встретился, — крикнула побагровевшая Россхаупт. — Немедленно приведи в [423] комендатуру заключенного чеха Ярду из четырнадцатого барака.

И она устремилась дальше.

— Веду к вам нашего донжуана, — сказала она, врываясь в жарко натопленную комендатуру. — Вы были правы, он влюбился в жидовку. А ну-ка, поскорей проветрите здесь, не то я задохнусь.

Дейбель поспешил к окну, Копиц ловил руками рукава френча, повешенного на спинку стула. Вошедший вслед за эсэсовкой Лейтхольд с унылым видом остановился у дверей.

— Вы только взгляните на него! Хорош инвалид! Отказался наказать девчонку, которую я поймала при попытке к бегству! — возгласила она, тыча пальцем в сторону Лейтхольда. Кюхеншеф медленно поднял голову и, словно не слыша

надзирательницы, проковылял к столу Копица.

— Герр рапортфюрер, — тихо сказал он, стараясь сохранять воинское достоинство, — разрешите подать вам рапорт об увольнении со службы. Вы сами предлагали мне.

Россхаупт энергично оттолкнула его.

— Э-э, нет, голубок! Прежде ты ответишь за свои проступки. Смотрать удочки, подать в отставку... Как бы не так!

Стоявший у окна Дейбель вытаращил глаза, он все еще не понимал, в чем дело. Копиц тоже понимал не больше его, однако быстро успокоился, остался сидеть без френча, с расстегнутым воротом, удобно развалясь на стуле, и благодушно поглядывал на разыгрывающуюся сцену. Могло ли быть более отрадное зрелище! Перед ним его милые коллеги, которые давно сидят у него в печенках и мешают ему править лагерем по-своему. Рыжая щука Россхаупт и благородный инвалид Лейтхольд! Оба они сейчас дрожат — она от злости, он от страха. Здорово они сцепились, Кобылья Голова, видимо, держит его за глотку и не отпустит, пока ему не будет капут. Это же просто замечательно, друзья мои, ну-ка, ну-ка, жрите друг друга, чем больше вы приложите к этому сил, тем меньше работы останется дядюшке Копицу...

— Ну-ка, все по порядку, — сказал он веско. — Слово имеет фрау надзирательница. У вас, очевидно, есть обоснованная жалоба на шарфюрера Лейтхольда? [424]

Россхаупт одернула на себе френч. Она сразу заметила, что Копиц чувствует себя на коне и наслаждается положением арбитра. Но ей было все равно. Сейчас для нее было важно одно: она ненавидела красивое тело Юлишки и жаждала расправиться с эсэсовцем, который пренебрег своей арийской честью.

Россхаупт лаконично сообщила о случившемся, показала брюки, которые, войдя, швырнула на стол, и повторила, что налицо явная подготовка к побегу и что кюхеншеф, во-первых, не был достаточно бдителен, чтобы самому заметить это, и, во-вторых, отказался задать девушке заслуженную норку. Уже этого достаточно, чтобы немедленно отстранить его от должности и завести дисциплинарное дело. Но еще останется вопрос, в какой степени он был заодно с этой девкой. Для большей выразительности Россхаупт употребила двусмысленное выражение «unter einer Decke stecken» <быть заодно (*буквально*: «быть под одним одеялом» — *нем.*)>, и Копиц злорадно хихикнул.

Здоровая щека Лейтхольда покраснела, он, словно защищаясь, прикрыл грудь руками.

— Категорически отвергаю подобное подозрение, — запинаясь, произнес он.

— Вот еще! — прервала его Россхаупт. — Как это вы могли не знать о брюках? Да ведь она носила их только ради вас, чтобы еще больше вам нравиться! Где она их примеряла? Не в вашей ли комнатке?

Лейтхольд уже не мог защищаться, такая порция яду сразила его, он умоляюще поглядел на Копица, прося помощи.

Рапортфюрер заговорил. Не стоит заходить слишком далеко, решил он про себя. Дурачок Лейтхольд знает кое-что о наших комбинациях с провизией, ведь прежде,

чем сказать решительное «нет» насчет тысячи трехсот рационов, он несколько раз сказал «да». Такие дела должны остаться в тайне, а Лейтхольд, конечно, не сумел бы молчать на энергичном гестаповском допросе...

И Копиц сказал учтиво:

— Не волнуйтесь, фрау надзирательница... Руди, что же ты не предложишь стул фрау, видишь ведь, что она утомлена...

Россхаупт нетерпеливо качнула головой, но все же села и не прерывала Копица. [425]

— Вопрос ясен, милая фрау Россхаупт, все будет так, как вы желаете, — Копиц церемонно поклонился; щука не могла не ответить кивком. — Все дело только в том, чтобы надлежащим образом покончить с этой неприятной историей. Вы, очевидно, заметили, что я велел поставить виселицу на апельплаце: у нас тут есть один старый случай, который мы ликвидируем завтра утром. Нет ничего проще, чем заодно повесить и Юлишку.

— Э, нет, — сказала щука и противно засмеялась. — Она моя. Она мне еще кое-что расскажет, может быть и о своих шашнях с Лейтхольдом...

Копиц сделал успокоительный жест.

— Согласен. Хотите взять ее с собой, пожалуйста, берите! Остается вопрос о Лейтхольде; о том, что он неважный работник, мы знаем давно. Вы сами слышали, как он говорил об уходе со службы. Я поддержу его ходатайство, — Копиц бросил быстрый взгляд на Лейтхольда — понял ли тот, что у рапортфюрера все козыри на руках, — потом повернулся к надзирательнице и продолжал: — Вопрос же о том, следует ли привлекать Лейтхольда к ответственности за его связь с заключенной, я предоставляю вашему усмотрению. Вот его бумаги... Руди, подай-ка мне папку эсэс... из них явствует, что герр кюхеншеф почти полный инвалид. Его с трудом подремонтировали в госпитале, — рапортфюрер наклонился над столом и доверительно улыбнулся Россхауптихе. — Медицинские эксперты, вероятно, очень удивятся, если мы вздумаем утверждать, что он... ну, в общем, что он стал у нас таким уж донжуаном.

Щука, видимо, клюнула. Презрение к слабым мужчинам было ее коньком. Она уничтожающе взглянула на Лейтхольда, который все еще торчал, как кол в заборе. Одна половина его лица была бледной, другая красной, а незрячий глаз уставился на портрет Гитлера.

Надзирательница вздохнула.

— Хорош эсэсовец! — с отвращением сказала она. — Видимо, вы правы. Признать это ничтожество нормальным, значило бы опорочить весь эсэс. Хорошо, я подумаю.

У дверей постучали, и конвойный доложил, что писарь явился по приказу фрау надзирательницы.

Россхаупт махнула рукой.

— Он привел портного, который шил эти брюки. Я хотела бы немного порасспросить его. [426]

— О, пожалуйста! — снова поклонился Копиц и велел впустить писаря.

Но писарь вошел один.

— Разрешите доложить, — прохрипел он, вытянувшись в струнку, — что означенного заключенного сейчас нет в лагере. Я точно выяснил, что он утром отбыл на внешние работы к фирме Молль.

— Не врешь?

— Никак нет, фрау надзирательница.

Копиц встал и, наклонившись к Россхаупт, доверительно шепнул ей.

— Писарь — надежный человек. Немец и зеленый, как видите.

— Ладно. отошлите его. — И когда Эрих ушел, она выпрямилась и быстро сообщила свое решение. — Мы сделаем вот так. Наказание портного я предоставляю вам, а эту девку увезу сама. Как вам известно, я добиваюсь того, чтобы и остальные женщины как можно скорее были переведены отсюда. Вы, по-видимому, знаете, что ваш лагерь вскоре будет преобразован в лазарет. Вам сократят штат, так что нетрудно будет избавиться и от Лейтхольда. Пока что пусть продолжает служить, а вы за ним хорошенько приглядывайте, чтобы не выкидывал никаких штучек. Подам я на него рапорт или не подам, будет зависеть от показаний этой девки. Я ее, кстати, велю освидетельствовать, не беременна ли. Если да, то придется казнить и отца этого ребенка. Согласны?

Копиц ответил не сразу. Из всего, что она сказала, он уразумел лишь одно: его лагерь вскоре будет превращен в лазарет. Так ли это? Шука болтается по всей округе, видимо, она знает больше, чем он, рапортфюрер, который вечно торчит у себя в «Геглинге 3» и обо всем узнает последним. Но Копицу не хотелось признаваться в этом, и он сказал немного смущенно:

— Я согласен, фрау надзирательница. Как вам угодно.

Она поблагодарила и даже подала руку ему и Дейбелю, а на Лейтхольда прикрикнула: «Дайте ключ от кухни!»

Через несколько минут она уже вела к машине плачущую Юлишку. Та шла, понуриив голову, поддерживая руками мешок, обернутый вокруг бедер, и тяжело волооча деревянные башмаки. [427]

9.

Вечером, после возвращения команд с работы, лагерь был взволнован, как никогда. Первое, что каждый увидел, входя в ворота, была виселица. Она висела посреди апельплаца, и какой-то часовой шутки ради направил на нее луч рефлектора. Такое зрелище заставило всех умолкнуть.

Обычно при виде какого-нибудь новшества в лагере среди заключенных начинались догадки: «К хорошему это или к плохому?» Но сейчас гадать не приходилось. Веревка с петлей, обернутая вокруг столба, могла означать только плохое. Правда, в лагере люди легко умирали и без виселицы — казни бывали очень редко, — и все же узников угнетала мысль о том, что вдруг, ни с того ни с сего, здесь поставлен эшафот. Для кого же? И если начнется расправа, ограничится ли она одним человеком? Где же обещания, что «Гиглинг 3» будет рабочим лагерем, без побоев, карцеров и казней?

Потом последовала другая сенсация. Пронесся слух, что у ворот стоял писарь Эрих

и допытывался у капо, вернулся ли в лагерь Ярда из четырнадцатого барака. Ярду никто не знал, и наконец лишь голландец Дерек вспомнил:

— Это портной-то? Ну да, я сам видел, как он входил в лагерь. Наверное, сейчас стоит в очереди за ужином.

— Слава богу, — вздохнул писарь и поспешил прочь. Но за Ярдой он не пошел, и тот спокойно стоял в очереди, когда к нему прибежал Дерек.

— Что ты натворил? — спросил он шепотом, но соседи все же заметили это, а Мирек прямо-таки задрожал, подумав о виселице.

— Ничего! — ответил Ярда. Он и вправду не мог вспомнить ничего особенного; на стройке сегодня был спокойный день.

— Не дури, тебя искал главный писарь. Наверняка что-то случилось... здесь, в лагере...

Ярду осенило: наверное, это из-за брюк, которые он вчера отнес Юлишке. Но ведь Гонза предупреждал: никому ни слова.

— Ничего не знаю, — ответил он Дереку. — А писарь говорил, чтобы я пришел в контору? [428]

— Нет, этого он не сказал. Ну, будь здоров.

Тем временем спереди, от головы очереди, передали другую новость: Юлишки больше нет в кухне, ей-богу, вы только поглядите, ребята! На раздаче стоят Беа и «татарка» Като, а повязку «кюхенкапо» носит Эржика.

Ярда побледнел и сам взял Мирека за рукав.

— Где стоит Гонза, не знаешь?

Оба стали высматривать Гонзу, но как раз сегодня его не было поблизости. Оставалось только ждать.

Дерек тем временем оповестил Фредо, и тот поспешил к Зденеку. Но и Зденек ничего не знал, он только рассказал о неожиданном увозе Юлишки, описал, как ее вела надзирательница. Когда он упомянул о переднике из мешка, Фредо все стало ясно.

— Ты об этом не знаешь, а я сам велел Ярде сшить ей брюки, хотел дать ему заработать и надеялся, что мы таким образом наладим отношения с главной кухаркой. Ее-то не жалко, она глупа и стерва, но Ярду нельзя оставлять на произвол судьбы, надо что-то придумать... Кстати говоря, с твоим братом все идет отлично: завтра он, наверное, прибудет сюда с партией больных... Не знаешь, где писарь?

Эриха Фредо нашел в немецком бараке. Там тоже заварилась каша. Мотика не придумал ничего умнее, чем насплетничать Карльхену о своем конкуренте Жожо, который слишком дешево продавал золотые зубы:

— Жожо ходит на стройке с Берлом... Тебя все жалеют...

Карльхен взбесился, надавал затрещин своему юному слуге и во всеуслышание объявил, что убьет француза. Эрих пришел его утешать.

— Не дури, — твердил писарь, — обстановка в лагере напряженная: виселица и

всякое такое. Кто знает, что будет. Держи себя в руках, выжди, не поднимай шума. В дверях появился Фредо и попросил писаря выйти на минутку.

— Эрих, быстро скажи, что ты знаешь о Ярде? Это его хотят повесить?

— Чепуху ты городишь! — с апломбом ответил писарь. — Что за паника? Построить виселицу было приказано утром, задолго до скандала в кухне. Ты же помнишь, что плотника Карльхена оставили в лагере еще во время переключки? Нет, история в кухне здесь ни при чем. [429]

— Для кого же виселица?

— Понятия не имею. Я уж перебрал все возможности. Сперва подумал об Оскаре. Понимаешь ли, может быть, они хотят, чтобы случай с ним послужил предостережением всему лагерю. Чтобы не болтали о тифе и прочее. Но, наверное, это не так. Сейчас мне кажется — обрати внимание на рефлектор! — что это, вероятно, просто для остротки, чтобы припугнуть людей. Суровый режим и прочее...

Грек кивнул головой.

— Не нравится мне все это. Расскажи, как было дело с Юлишкой.

Эрих знал только то, что Фредо уже слышал: что-то стряслось в кухне, и Россхауптиха увела Юлишку. Поговорить с девушками еще не было возможности, Лейтхольд сперва запер их на замок, а теперь бдительно сторожит. Юлишка отправлена как «Einzeltransport» в индивидуальном порядке — писарю велели срочно заполнить пересыльный лист. Кобылья Голова расписалась на нем, получила дубликат, карточку Юлишки изъяли из картотеки.

— А в чем дело с Ярдой? Тебе ведено привести его в комендатуру?

— Нет, мне ничего не сказали. Спросили только, где он, я сказал, что у Молля, вот и все.

— Все? Эрих, скажи откровенно, не думаешь ты, что эта виселица все-таки для него?

Писарь рассердился.

— Чушь! Говорю тебе, ее начали ставить еще до того, как... Да ты что, новичок в лагере, что ли? Не знаешь, что здесь беда никогда не приходит одна? Уж если начнутся казни...

— Спасибо, — сказал Фредо и поспешил дальше.

\* \* \*

Ярда и Мирек приблизились к котлам. Над дверью кухни горела лампочка, при свете ее Беа и Като выдавали дымящуюся похлебку. Ярда стоял в очереди к Беа, Мирек — к Като. Последняя, помешивая поварешкой в громадном котле, шепнула Миреку:

— Даю тебе лишнего, поделись с соседом... И скажи ему, что надо бежать. Немедля. Его дела плохи.

Она наполнила миску до краев. [430]

Лейтхольд заметил беспорядок: «Was gibts? Почему разговоры?» С палкой в руке он

поспешил к котлам. Ярда промелькнул мимо него, на счастье, Лейтхольд не знал портного в лицо: Юлишка провела все дело с перешивкой брюк так ловко, что Лейтхольд узнал о нем лишь сегодня утром от надзирательницы.

Оба чеха отошли подальше от освещенного места. Очередь продолжала двигаться, эсэсовец никого не ударил. «Ни слова, verstanden?» — погрозил он Като и остался стоять рядом.

Мирек подал свою миску Ярде.

— Половина тебе, — сказал он испуганно. — Если хочешь, ешь все. Повариха сказала, что ты должен бежать. Сегодня же. — И словно осмыслив этот безрассудный совет, он оглянулся, обвел взглядом ограду, прожекторы, вышки с пулеметами, беспомощно усмехнулся и чуть не со слезами повторил: — Ну, так беги же!

Но портной — недаром его прозвали «младенчик Ярда» — и сейчас не мог пересилить свою наивную нерешительность. Ему совсем не хотелось выполнять такой совет; похоже было, что минута, когда надо сделать решительный шаг к самозащите, для него хуже смерти. Как и когда-то в Праге, он предпочел отвергнуть мысль, что могут обидеть его, ни в чем неповинного маленького человека.

— Что ж, мне со страху наложить в штаны, что ли? — рассердился он. — Как-нибудь обойдется. Ты меня только зря пугаешь.

И, отойдя от Мирека, он пошел искать Гонзу.

\* \* \*

— Lagerschreiber, vorwärts! — закричали дежурные у ворот.

Эрих бросил все, кинулся в контору, припрятал там подношения, полученные от капо, побывавших на внешних работах, и побежал к рапортфюреру. Около комендатуры стояла полицейская автомашина с работающим мотором, видно было, что она вот-вот отъедет.

Копиц ждал, сидя за столом.

— Где ты болтаешься, писарь? Проверил ты, вернулся ли тот портной в лагерь?

— Jawohl, — прохрипел Эрих. — Он в своем бараке.

— Ладно. Карцера у нас нет, так что оставь его там. [431] Завтра после переключки приведешь его ко мне. Составим протокол, на работу он не пойдет. А что ты на это скажешь? — и он показал в угол, где лицом к стене стоял маленький человек.

Эрих плохо видел, очки у него запотели, он быстро снял их, но теперь видел еще хуже.

— Направо кругом, Янкель! — сказал рапортфюрер

Человечек у стены повиновался. Медленно и неловко, совсем не по-военному, он повернулся, сделав по меньшей мере четыре шаркающих шажка. Писарь протер пальцами очки и снова водрузил их на нос. Янкель Цирюльник?! Эрих глядел на него, как на ископаемое чудовище. Так Янкель еще жив? Откуда же он взялся, господи боже?

— Вот видишь, убийца Пауля вернулся! Вернулся к нам, соскучился по Гиглингу,

— Копиц пускал дым из трубочки с изображением оленя.

Если бы писарю не сказали, что это Янкель, он, наверное, не узнал бы бывшего парикмахера. Янкель очень исхудал, на лице его остался только большой висячий нос. Еще более съездившийся и посеревший парикмахер, помаргивая, стоял у стены.

— Гестапо вернуло нам его, дело закончено. Его сообщник Фриц убит. Ты ведь помнишь Фрица? Да, да, такова участь людей, которым не нравится у дядюшки Копица.

С минуту было тихо, только в печке потрескивал сырой уголь, украденный на станции заключенными и отобранный у них эсэсовцами.

— Что же нам теперь делать с Янкелем? — с коварной усмешкой сказал рапортфюрер.

Писарь уж понял, для кого построена виселица. Но этого нельзя было показывать. И он сказал:

— Прикажете вернуть ему инструмент? Или лучше послать его на внешние работы к Моллю?

Эта игра понравилась Копицу.

— Не знаю, не знаю, — подхватил он. — Надо подумать. Но первым делом надо позаботиться о том, чтобы дружки Пауля — Коби и Карльхен — не пристукнули бедняжку Янкеля... Где бы нам поместить его на ночь?

Писарь опасался, что Копиц опять вспомнит о мертвецкой.

— Если вы разрешите, — сказал он быстро, — я возьму его на себя. Он может переночевать в конторе. [432]

Копиц слегка нахмурился.

— Глупости, писарь.

— С ним ничего не случится, я лично за него ручаюсь, — заверил Эрих.

Рапортфюрер поколебался, потом махнул рукой.

— Ладно. А как ты обеспечишь, чтобы его никто не тронул?

— Посижу с ним. Писарь Зденек или Фредо сменят меня.

— По нужде его тоже не выпускайте одного. Verstanden?

— Jawohl!

— И следи за тем, чтобы не было никаких выходов. Я прикажу сегодня усилить охрану на вышках.

«Ради этой мыши?» — мысленно спросил писарь и улыбнулся.

«Ради себя самого, балбес, — так же безмолвно ответил ему Копиц. — На черта мне неприятности с гестапо?»

\* \* \*

Янкель Цирюльник сидел в конторе, глупо улыбался и не говорил ни слова. Весть о его появлении, как по тайному телеграфу, разнеслась в лагере. Люди кивали друг другу, и у всех отлегло от сердца. «Ага, так вот для кого поставлена виселица! Ну,

что поделаешь, явный убийца, его уже не спасти».

Капо и парни из абладекоманды заходили в контору поглядеть на странного человечка. Никому не пришло в голову пристукнуть его или даже дразнить, наоборот, ему приносили еду и сигареты, как-то проявляли сочувствие. Ведь он тот самый козел отпущения, который сегодня избавил всех от щемящего чувства страха.

А Янкель сидел и улыбался. Он немного поел, а теперь покашливал, курил и молчал. «Зеленые» ходили кругом на цыпочках, глядели на него и вспоминали Пауля, Фрица... Боже, как это было давно! С того утра, когда обоих грозных капо не стало в лагере, никто даже не произнес их имени. К мертвым тут относились поделовому: за день уносили многих, но говорить о них никому не хотелось. Каждый «зеленый» охотнее занимался чем-нибудь другим. Эти грубые и опустившиеся люди суеверно любили жизнь, им хотелось остаться на этом свете, выжить. С Паулем, считали они, вышло как-то глупо! Бедняге просто не [433] повезло ничего не попишешь. Фриц же был слишком дерзок, он отважился на поступок, о котором другие только мечтали, но не решался никто. И вот, пожалуйста, он сыграл в ящик. «С ним дело закончено, — сказал Эрих. — Можете не сомневаться, иначе нам не прислали бы Янкеля...»

Дело закончено... Зденек глядел в окошко на апельплац. Сегодня там было необычно светло, рефлекторы не гасли. Чрезвычайное положение! А какое, собственно, «дело»? Ведь оно началось этим злосчастным случаем с разбитой челюстью... Феликс, — еще одно имя, забытое в череде событий! Феликс... Пауль изувечил его в то самое утро, когда прибыл наш транспорт. Шими-бачи (ах, и этого уже нет в живых!) первым оказал Феликсу медицинскую помощь. Потом долго не удавалось установить, кто же ударил Феликса... пока маленький, ничтожный Янкель в припадке не полоснул бритвой... Вину свалили на евреев, и ожидался погром. Весь лагерь разделился на две враждующие стороны... Зденеку почему-то было приятно сейчас вспоминать об этом. Он тогда стоял с палкой в руке рядом с Диего, лучшие люди лагеря считали младшего писаря своим. Но потом настал еще больший переполюх, и ожидавшаяся стычка не состоялась. Удрал Фриц! А утром была эта ужасная переключка и отправка людей на внешние работы. Все к Моллю, все до одного! Сплошной, непрерывный бедлам, без смысла, без конца. Может быть, эта виселица — финал?.. Какое же «дело» закончено?

Парикмахер Янкель улыбался, отщипывал кусочками сало и хлеб, покуривал, покашливал, молчал.

Эрих в конце концов выставил из конторы всех любопытных.

— Идите спать, ребята, кто знает, какой завтра будет день. Идите!

\* \* \*

В четырнадцатом бараке сидел и молчал Мирек. Соседнее место на нарах было пусто — Ярда где-то болтался с Гонзой, убеждал его, что, мол, беспокоиться не о чем, что могут сделать бедному портному, который послушался всесильной поварихи и перешил для нее брюки?

Все остальные уже уснули, а Миреку не спалось. Он сидел на нарах, держа в руках круглое розовое зеркальце, и глядел в его таинственное стекло. Свет сегодня [434] не тушили... ну, да это потому, что в лагере чрезвычайное положение, завтра

казнь. Но казнить будут не тебя, не меня, не бойся, только Янкеля...

Мирек усмехнулся, посмотрев на свое отражение. Боже мой, какой жалкий вид! Во что превратилось его лицо с тех пор, как он купил себе это зеркальце! Глаза провалились еще больше, в них появилось какое-то отсутствующее выражение, сине-коричневые круги под ними расширились. Болезненно сухая и шершавая кожа еще туже натянулась, черные поры увеличились, словно сквозь них уже проглядывала земля. А зрачки, эти четкие бархатные мишени, обрамленные пятнистой радужницей, похожей на рубчатую кожу пиявки, молчали. Они уже все сказали. Решено!

Зачем, собственно, мне оставаться здесь? Зачем переживать все до конца: зиму, еще более лютый холод? Вши и голод станут еще нестерпимее... Зачем ждать, пока смерть, которая сейчас подкрадывается, повалит тебя на лопатки и раздавит?

Мирек тихо встал. В кармане у него был ножик, которым его четверка каждый день резала буханочку хлеба на равные доли. Кому оставить нож? Ярде! Мирек положил нож на одеяло соседа, чтобы тот сразу обнаружил его, потом осторожно натянул брюки, подтянул пояс и обулся. Держа в руке круглое зеркальце, он вышел из барака.

\* \* \*

В конторе распределили смены. Янкеля уложили на одну из скамеек, покрыли одеялом, и он с улыбкой уснул... или притворился, что спит. Зденеку предстояло караулить его до полуночи, потом он разбудит Фредо, и тот займет его место. В три часа на дежурство вступит Эрих Фрош.

Писарь пошел спать первым.

— Иди ложись и ты, Фредо, — зевнув, сказал он и опустил занавеску, отделявшую угол в глубине конторы.

— Сейчас лягу, Эрих. Вот только дождусь Хорста. Все равно он меня разбудит, когда вернется.

— Он еще не скоро. Ждет на улице, хочет пробраться к забору женского лагеря, — писарь усмехнулся. — Но сегодня не потушат света.

— Покойной ночи, — сказал Фредо. [435]

Зденек дождался именно этой минуты. Он подошел к греку и шепнул ему на ухо:

— Я придумал, как спасти Ярду. Когда ты примешь дежурство, я пойду и разбужу блокового в четырнадцатом бараке. Он мне ни в чем не откажет. Портного мы еще ночью переправим в лазарет. Оскар нам поможет, а на место Ярды положим какого-нибудь покойника, одного из тех, кто умрет этой ночью в больничных бараках. Я сам подменю карточки и в утренней сводке припишу портного к мертвым.

Фредо поглядел на него и медленно покачал головой.

— Подумаешь, идея! Ничего нового ты не выдумал. Но на сей раз это будет трудно! Ты же сам знаешь, что сегодня все заключенные слышали о Ярде. Стало быть, весьма возможно, что нам не удастся все это проделать втайне. А прежде чем пытаться обмануть комендатуру, надо обмануть вон того, — Фредо кивнул на занавеску. — А Эрих на это дело не пойдет.

— Пойдет! — взволнованно прошептал Зденек. — Должен пойти! Он тоже подумывает о конце нацизма и хочет, чтобы в фильме о концлагере я изобразил его почти святым. У нас с ним уже на этот счет был разговор. Мы скажем Эриху напрямик, что сейчас ему представляется случай доказать свою добрую волю... Кстати говоря, он не такой уж плохой человек. Только что он сказал мне, что, если бы не он, эсэсовцы заперли бы Янкеля на ночь в мертвецкую, и я верю ему.

— А другие? Карльхен, Мотика?

— Завтра утром их ждет необычное событие — публичная казнь. Может быть, все они этой одной смертью будут сыты по горло.

Фредо улыбнулся.

— Возможно, ты и прав. Ну, а что, если фортель с картотекой сорвется и Копиц повесит тебя? — и он положил руку на картотеку живых.

— Со мной ничего не случится, — быстро возразил Зденек и покраснел: глупо сказано! — Мы должны это сделать, и точка! Поможешь?

— Ладно, — Фредо кивнул: он, мол, согласен помочь, а руководство будет за Зденеком. — Ты возглавишь все дело. Если хочешь, я сейчас же зайду к Оскару. Портной Ярда — такой долговязый, тощий? Надеюсь, среди мертвых найдется подходящий. [436]

Зденек прямо-таки горел от возбуждения.

— Иди, а потом приходи сказать мне, как и что. Хорошо, если бы ты зашел и к Гонзе. Подготовьте Ярду. Он немного придурковат... Говорит, что не верит рассказам о злых эсэсовцах... — засмеялся Зденек.

Фредо вышел.

— Что там? — услышался из-за занавески хриплый голос Эриха. — Кто открывал дверь?

Зденек заглянул за занавеску.

— Ничего, герр Эрих. Фредо вышел оправиться.

Наступила тишина. Напротив лежал на лавке маленький Янкель и, видимо, в самом деле спал. Зденек уселся перед картотекой живых и чуть дрожащими пальцами перебирал карточки, ища ту, на которой написано по-немецки «Гичман Ярослав, портной из Праги».

\* \* \*

Предсказание Эриха не сбылось: огни все-таки погасли, потому что в Мюнхене объявили воздушную тревогу. Был большой налет, падали бомбы, звенели стекла.

Хорст, дождавшись своего часа, выскользнул из немецкого барака, где сегодня только и разговоров было, что о неудачном побеге Фрица. Староста подкрался к забору женского лагеря и опять, как назло, там уже стояли Като и Диего.

— Добрый вечер! — прошептал Хорст. — Не будете ли вы так любезны...

Но «татарочка» не дала ему договорить.

— Беа просит вас не сердиться, но сегодня она не придет. Она плачет и очень боится... Понимаете, эта виселица... А Юлишка была ее лучшая подруга.

— Понимаю, понимаю, — уныло сказал немец и погладил свои усики. — Тогда завтра. Передайте ей привет. — Он хотел поскорее уйти, ему было досадно, что этот противный Диего был свидетелем его неудавшегося свидания. Но все же Хорст заставил себя небрежным тоном осведомиться у Като.

— А вы, конечно, не боитесь?

— Нет. Доброй ночи, — спокойно и с усмешкой сказала Като.

Хорст ушел, и Като обратилась к Диего.

— А ты боишься? — спросила она, и, хотя их разделяла колючая проволока, ее лицо было очень близко к нему. [437]

— Стоять тут? А что в этом особенного? — отозвался испанец. — Ты же видела: даже Хорст не побоялся.

— Это он из тщеславия, — засмеялась Като. — Глупый человек!

— А мы? — настаивал Диего, прижавшись к забору. — Мы разве не глупые?

— Глупые.

Она не отодвинулась, их лица почти соприкоснулись.

— Нет, — сказал Диего. — Ни ты, ни я не глупые. Мы к этому относимся всерьез.

Она перестала улыбаться. Это было так приятно слышать! Но Като не хотела, чтобы у нее закружилась голова.

— Это мы-то не глупые, Диего? Между нами колючая проволока, на вышке часовой с пулеметом, чуть подальше виселица...

— Это все только так выглядит сейчас, — сказал он нежно. — Но ведь правда за нами. Мы с тобой здесь рядом этой ночью, и того, что мы знаем, у нас не отнять. Проволоке и всему остальному скоро придет конец.

— А нам не придет?

— Нет.

У Като затуманились глаза. Она не хотела, чтобы Диего увидел на них слезы, и быстро отвернулась.

— Я тебе принесла кое-что, — сказала она, шаря по карманам. — Ведь, может быть, завтра нас увезут отсюда, так сказала надзирательница.

— Я и пожалею, и порадуюсь этому. Здесь вам не место. А мы с тобой все равно найдем друг друга, когда все это кончится.

Она вынула из кармана гребенку.

— А как я тебя узнаю? На свободе я выгляжу иначе, и ты, наверное, тоже. Вот по этой зеленой гребенке я бы могла тебя узнать. Будешь носить ее?

— В волосах? — улыбнулся Диего.

— У тебя они сейчас длиннее моих, — прошептала Като. — Возьми гребенку. Мне ее дал буфетчик на стройке и хотел за нее поцелуй. Но его получишь ты. Потом Иолан брала у меня эту гребенку причесать котенка... — Като снова засмеялась и утерла слезы. — А теперь её получит большой кот. [438]

Диего размышлял, наморщив лоб.

— А что я дам тебе? Как узнаю тебя? У меня ничего нет. — И он поднял свои большие руки труженика: вот, мол, гляди — ничего нет.

— А поцелуй? — сказала Като.

\* \* \*

Фредо, Гонза и Ярда стояли около четырнадцатого барака. Портной был перепуган отважным замыслом товарищей.

— Да я ведь не сделал ничего плохого, — жалобно твердил он уже в десятый раз.

— А теперь зачем-то должен прикинуться мертвым. Если об этом узнают...

Фредо и Гонза объясняли ему, что он ничем не рискует. Старший врач дал согласие, Зденек берет на себя подмену карточек.

— А если они напишут в Прагу, что я умер? Вздор!

Они разубеждали Ярду, как могли. Гиглинг не рассылает уведомлений о смерти, а потом ведь все равно жена и дети Ярды остались в Освенциме.

— Ну, остались, — скулил «младенчик Ярда». — А что если они узнают обо мне что-нибудь страшное?..

Наконец его уговорили пойти лечь и подождать до полуночи, когда Зденек придет договариваться с блоковым. Если тот не согласится, тогда вообще не о чем говорить, вся затея отпадает.

Ярда залез в свой барак и в темноте забрался на нары. Закутываясь в одеяло, он услышал, как что-то стукнуло о доски под стружкой, и нащупал нож Мирека.

«Эх, раззява!» — подумал он и протянул руку к соседу, но место Мирека было пусто. У портного хватало своих забот, и он не придал этому значения. Мирек, наверное, пошел в уборную... Ярда заложил руки за голову, на мокрые, холодные башмаки, и смотрел в темноту. Вскоре воздушная тревога кончилась, и в бараке зажглась лампочка. Тут Ярда немного забеспокоился: соседнее место было в беспорядке, одеяло наброшено кое-как, а Мирека нет. В последнее время он выглядел прескверно и все глядел в это проклятое зеркальце...

Ярда тихо встал, оделся и пошел искать товарища. [439]

10.

Казнь проходила с убийственной деловитостью и все же казалась нереальной, как кошмар; позднее никто не помнил всего по порядку.

В пять утра началась обычная побудка, послышались возгласы «Kafé-é-é holé-é-é»; в бараках раздавали черную бурду, шутки сегодня никому не шли на ум. При свете прожекторов узников погнали на апельплац. Потом староста Хорст со щегольскими усиками построил людей, но не так, как обычно. С помощью ребят из абладекоманды он образовал из шеренг каре, так чтобы все стояли лицом к виселице. Четвертая сторона каре осталась открытой, там, отделенные от мужчин колючей оградой, рядами стояли девушки.

Падал мелкий снег, в снопах света прожекторов он кружился перед черными дулами пулеметов. Мороз был не очень сильный. В половине шестого распахнулись главные ворота, орднунгдинсты заорали «Achtung!», и Хорст побежал навстречу начальству. Гуськом вошли трое — приземистый Копиц с

трубкой, высокий, гибкий Дейбель с плеткой из кабеля и длинный, тощий Лейтхольд. Ворота закрылись.

Эрих вбежал в контору и вывел оттуда Янкеля. Маленький человечек не переставал улыбаться... Или это только казалось?

— Займись им, Карльхен, — сказал Копиц, не вынимая трубки изо рта. И даже не поглядев, выполняется ли его распоряжение, рапортфюрер, пошарив в карманах, извлек праздничный футляр с очками и какой-то документ. Он не спеша нацепил очки и принялся читать. Точный смысл его слов не доходил до узников, все глядели на Карльхена.

Тот вышел на свободное место перед виселицей и подождал, пока писарь с Янкелем подошли к нему. Тогда он слегка похлопал парикмахера по плечу и повел его к виселице. Писарь повернулся налево кругом и отошел к эсэсовцам.

Под виселицей стояла старая, средних размеров бочка из-под соли. Карльхен взял Янкеля за пояс и, как куклу, поставил его на эту бочку. Потом он сам влез туда же, что при его громоздкой фигуре оказалось уже сложнее; сперва он вскарабкался на бочку, встав на нее коленями. Бочка зашаталась, Янкель расставил руки, чтобы [440] удержать равновесие и, подав плотнику руку, помог ему взобраться. Рослый Карльхен и маленький парикмахер стояли теперь вплотную друг к другу на бочке и смотрели на рапортфюрера, который все еще оглашал приговор.

Узники, уже не опасавшиеся, что бочка завалится, старались теперь разобраться, что там такое читает рапортфюрер. «Гестапо неоспоримо установило, — объявлял Копиц, — ход событий, имевший место в данном лагере в субботу четвертого ноября. Уголовник-рецидивист Фриц Грау и его сообщник Пауль Кербер подготавливали побег. В последний момент Пауль отказался от участия в побеге, и Фриц Грау велел парикмахеру Янкелю Цирюльнику умертвить Кербера. Сам он совершил побег, убив при этом свою сообщницу, шофера Марию Вирт. Через три дня он был задержан органами гестапо вблизи Нюрнберга и смертельно ранен, так как оказал сопротивление при аресте. Ныне остается привести в исполнение приговор над парикмахером, который для этой цели возвращен в лагерь «Гиглинг 3».

Рапортфюрер закончил чтение, сложил бумагу, положил ее в карман и снял очки.

— Начинай, Карльхен, — сказал он почти неслышно. Плотник осторожно, чтобы не шаталась бочка, поднял руки и снял петлю со столба. Слегка ослабив ее, словно опасаясь задеть за большой нос Янкеля, он надел ему эту петлю на шею и подтянул узел.

— Готово? — спросил Копиц.

— Jawohl! — отозвался Карльхен, еще раз похлопал Янкеля по спине и осторожно слез с бочки. Янкель остался стоять, стараясь сохранить равновесие. Все узники готовы были потом присягнуть, что он улыбался до последней минуты.

— Момент! — крикнул Дейбель и побежал через плац к другой стороне каре, где стоял Оскар с персоналом лазарета. — Я тебе дам закрывать глаза! — крикнул эсэсовец и хлестнул врача кабелем по лицу. — Смотри! — приказал он, сделав жест в сторону виселицы.

— Давай, Карльхен, — сказал Копиц.

Бочка покатила из-под ног Янкеля.

\* \* \*

Рабочие команды отправились к Моллю. Карльхен занял свое обычное место и зашагал вместе со всеми. [441]

Девушки ушли работать в кухню и в казармы охраны. Ворота закрылись, прожекторы погасли, опустевший лагерь мог снова уснуть.

— *Lagerschreiber, vorwärts!* — заорал ордунгдинст, и писарь в конторе вскочил с места, бледный и перепуганный.

— Наступает твоя очередь, — зло сказал он Зденеку, который, как обычно, сидел за утренней сводкой. — Сейчас они потребуют портного к допросу. Вы меня уговорили закрыть глаза на вашу затею, ладно. Но идти за вас на виселицу я, то-варищи, не намерен (дословно он сказал: «für euch rote Brüder» — «за вас, красных братцев»). И если Копиц озверевает, я палец о палец не ударю, чтобы спасти тебя.

— Спасибо вам за все, вы хороший человек! — искренне сказал Зденек и пожал ему руку. Эрих поспешил в комендатуру, на ходу протирая очки.

\* \* \*

Зденек содрогнулся, но заставил себя улыбнуться. В море ужасов, которые происходили кругом, он впервые попытался двинуться против течения — спасти Ярду, маленького человека Ярду, который не верил, что эсэсовцы так злы.

Зденек взял в руки рапортчики, полученные из барачных, и медленно перебирал их, прикидывая, какой по порядку пустить фальшивку о смерти Ярды. Надо, чтобы это сообщение поменьше бросалось в глаза, стало быть, место ему, безусловно, не в начале и не в конце списка. Где-то в середине.

Вот он, обрывок бумажного мешка, заполненный рукой поляка-блокового из четырнадцатого барака. Зденек ясно представил себе, как этот блоковый, выпятив губы, старательно выводит букву за буквой: «Выбывшие: Гичман Ярослав, портной из Праги, после полуночи обнаружен в умывальной. Самоубийство путем повешения».

Тут же лежала другая фальшивка — «переводка», подписанная Зденеком: «Заключенный Мирек Рудницкий, заболевший воспалением легких в тяжелой форме, переводится из рабочего барака № 14 в больничный барак № 8... Мирек? Кто он — Мирек, и с чего ему вздумалось наложить на себя руки? Зденек задумался, но не мог вспомнить лицо Мирека. Впрочем, он еще увидит его [442] в мертвецкой, когда пойдет туда вместе с дантистом снимать золотые коронки. И так, самоубийца. Зачем он это сделал? Был болен? Отчаялся? Быть может, если бы вовремя поговорить с ним по-хорошему... Зденек понурил голову. Столько ужасов вокруг, а помощи так мало, так ничтожно мало. Нет, в самом деле, всем его попыткам грош цена.

Он взял чистый лист бумаги, написал сверху: «Выбыли, причина — смерть» — и стал списывать фамилии с рапортчек. Где-то в середине он внес фамилию «самоубийцы» Ярослава Гичмана и радовался, что хоть Ярда-то будет жить.

\* \* \*

В комендатуре рапортфюрер встретил Эриха возгласом: «Большие новости,

приятель!» Впервые за много лет работы с Копицем Эрих Фрош услышал от него такое обращение. Писарь подавил опасения и вытянулся в струнку.

— Садись, — сказал Копиц, кивнув на стул.

В своем он уме? Писарь был стреляный воробей и не доверял эсэсовцам, даже когда они мило улыбались.

— Danke, sehr freundlich! <Покорно благодарю! (нем.)> — ответил он по-солдатски. — Я постою.

— Как хочешь, — сказал Копиц. — Итак, прежде всего, к твоему сведению, пришел приказ, вот он. — И Копиц хлопнул рукой по бумаге, которую только что привез курьер. — Фюрер дает лучшим из вас возможность отличиться на фронте. Сегодня или завтра вы поедете в Дахау. Что скажешь?

— Слава богу, — прохрипел писарь. — Хайль Гитлер!

Копиц прищурил левый глаз.

— В самом деле? Ну ладно, замнем для ясности. Итак, мы расстаемся. Если даже тебя из-за твоего горла не возьмут на войну, — он ткнул трубкой в шрам на шее Эриха, — сюда ты уже не вернешься. Здесь будет лазаретный лагерь.

— Лазаретный? — Эрих даже разинул рот. — А вы как же?

— Я? Ха-ха! Я молчу и не протестую. Тоже говорю «слава богу». Что, удивляешься? [443]

— Вы, значит, останетесь здесь?

— Ты считаешь, что старый хефтлинк и хороший эсэсовец должны держаться подальше от больных? Да, это верно, Руди так и говорит. Но, наверное, я уже не такой хороший эсэсовец. Скажу тебе откровенно, надоело мне все это. Никуда больше не потащусь, буду ждать здесь конца войны.

— А герр обершарфюрер Дейбель?

— Он еще ничего не знает. Наверное, будет ругаться. Но мне уже все равно. Не нравится мне кое-что... Да вот хотя бы то, что фюрер хочет выиграть войну с помощью таких типов, как ты. Или новый лекарский помощник Тишер. Знаешь ты, что с завтрашнего дня он мой прямой начальник? Представляешь себе, этикие кретины берут в руки судьбы Германии... А впрочем, какое мне дело!

Писарь молчал, он заметил, что Копиц под хмельком. На столе среди бумаг стояла пустая бутылка.

Но рапортфюрер еще не высказался до конца.

— Это Тишер подложил нам такую свинью, — продолжал он. — Ему, видишь ли, страшно понравились я и «Гиглинг 3» — мол, образцовый лагерь, просто создан для лазарета, ха-ха! Вчера лагерь номер четыре, лагерь номер пять и еще бог весть кто начали бомбардировать Дахау запросами, куда им деть своих больных. Так этот олух Тишер не придумал ничего лучшего, как вспомнить обо мне. Сегодня уже прибывает полторы сотни больных из пятого лагеря. А я и не пикну. По правде сказать, сначала я не очень-то молчал и даже дал им понять, что у нас тут сыпняк. А они мне в ответ, что у них тоже. Что ж ты не смеешься, Эрих? Все прогнило, все идет вверх тормашками, зачем же мне мудрить больше всех?

— Куда прикажете деть этих сто пятьдесят больных? Разместить по старым баракам?

— Нет, не надо, пусть лежат все вместе, поместим их в женских бараках. наших женщин сегодня днем переводят в пятый лагерь. Все идет как по маслу: три барака освобождаются, три барака будут заполнены. — Копиц умолк, опустил голову на руки, его толстые плечи дрогнули, и он издал такой звук, словно бы поперхнулся табачным дымом. — Крышка рабочему лагерю... Крышка особо секретному оружию «Фау-3». Наступление на фронте, стройка у Молля — всё липа. [444]

Писарь хладнокровно рассудил, что сейчас самое время выложить неприятную новость. Он щелкнул каблуками и сказал:

— Разрешите доложить, что портной, которого мне было введено привести утром на допрос, с перепугу повесился ночью.

Эсэсовец медленно поднял голову, его узкие глазки были красны.

— Вы его спрятали, сволочи! А что, если я отыщу его в лазарете?

— Не спрятали, герр рапортфюрер, — отважно соврал писарь. — Он знал, что его ждет, думал, что его казнят утром, вместе с Янкелем. Пошел и повесился в умывалке...

— Заткнись! — оказал Копиц и протер глаза. — Составь акт, копию пошли надзирательнице, она заварила всю эту кашу, с ней и разбирайтесь... В чем еще вы хотите меня окопачить?

— Других происшествий не было, герр рапортфюрер. Зеленые немцы, кроме меня и Пепи, все на стройке. В Дахау нам ехать всем вместе, когда они вернутся с работы? Или вы позвоните к Моллю, чтобы их откомандировали прямо оттуда?

— Ты что, смеешься надо мной! — вдруг вспыхнул Копиц. — Разве я могу откомандировывать? Разве меня ставят в известность о чем-нибудь? Вечно я ничего не знаю, тычусь, как слепой щенок, жду, что придумает наверху идиот Тишер или хитрая сволочь Россхаупт! Я... — он махнул рукой. — Проваливай, с тобой тоже говорить не о чем. Я вызвал тебя, быть может, в последний раз, хотел услышать человеческое слово... Я ведь тебя не обижал... ты-то лучше всех знаешь, что у меня всегда были добрые намерения... насчет Германии и вообще. А ты, вместо того чтобы оказать мне что-нибудь приятное, например: «После войны я к вам зайду, Алоиз, разопьем бутылочку...», — ты...

Копиц опять опустил голову на руки.

Эрих Фрош, видимо, и в самом деле был не так уж подл; по крайней мере сейчас он сохранил собственное достоинство и промолчал. «Хнычешь, как старая баба, тьфу», — думал он с отвращением, глядя на плешь рапортфюрера.

— Ну, иди! — сказал Копиц. [445]

— Как прикажете. Сдавать дела чеху Зденеку? Или вы назначите другого писаря?

— Проваливай!

\* \* \*

Сама Россхаупт так и не приехала за женщинами. Все произошло быстро, наспех, по принципу «живо, живо, марш, марш!» В одиннадцать часов раздался крик:

«Прибыл транспорт!», — ворота распахнулись, конвойные из пятого лагеря остались снаружи, а в лагерь ввалилось сто пятьдесят замерзших хефтлинков. Вид у них был жалкий, некоторые «утеплились» кусками толстой бумаги, многие хромали и шли с трудом, опираясь на плечи товарищей. Те, кто был покрепче, тащили тележку с умирающими.

Дейбель принял командование.

— Назад! — заорал он на Зденека, который побежал через апельплац, чтобы посмотреть, есть ли среди прибывших его брат. — Сперва отправить женщин!

Девушкам было ведено немедленно покинуть бараки и выстроиться. Като, пробегая мимо Зденека, шепнула:

— Передай Диего, чтобы не забывал!

— Он где-то здесь, ты еще сама ему скажешь! — улыбнулся Зденек.

Лейтхольд в последний раз отпер калитку женского лагеря, задумчиво уставился на висячий замок, потом махнул рукой и сунул его в карман. Илона и Маргит вышли из барака, бережно неся маленькую Иолан. Когда-то они пришли сюда с больной товаркой на руках, теперь так же уходили отсюда. Зденек тряхнул головой, отгоняя ненужные воспоминания, и крикнул:

— Диего! Тотенкапо!

— Чего орешь? — накинулся на него Дейбель. — Она ведь еще жива!

— Я знаю... — Зденек запнулся и сделал жест в сторону Като, означавший «я, мол, делаю, что могу», — Герр обершарфюрер, у нас в конторе еще остались документы для секретарши. Разрешите передать ей?

— Давай! — разрешил Дейбель, хлопнув кабелем по голенищу.

Новичкам, стоявшим на апельплаце, тем временем приказали сложить своих больных на землю. По особому распоряжению Россхауптихи тележку из пятого лагеря нужно было вернуть и на ней привезти больных женщин. [446] Диего уже катил тележку к стоявшим кучкой девушкам. Илона расстелила на тележке свое пальто, Маргит поддерживала Иолан. Като подбежала, чтобы помочь им, и ее рука коснулась руки испанца.

— Все-таки я достал для тебя подарок, — улыбнулся ей Диего. — Такой, чтобы ты все время помнила, как ты хороша и как я тебя хочу видеть. — И он сунул ей в руку круглое зеркальце, которое утром нашел в руке самоубийцы. Розовое зеркальце с золотистой рекламной надписью «Мое любимое местечко — Аде-бар в Мюнхене».

Зденек прибежал с пачкой бумаг. Он поглядывал на серую толпу озябших новичков на апельплаце и никак не мог разобраться, есть ли среди них Иржи. Но сейчас надо было попрощаться с Иолан.

— Маленькая, — прошептал он, наклонившись над тележкой, — это я.

Глаза Иолан сияли, на щеках у нее горели алые пятна.

— Я говорила много глупостей, а? — сказала она.

— Ничего подобного. Я вот тут написал для вас кое-что, спрячьте. И постарайтесь выздороветь, это самое главное.

— Постараюсь. Я так хочу этого.

— Хватит! — закричал Дейбель. — Прочь от тележки! Женщины, смирно! Выстроиться по пяти! Живо!

Девушки выстроились. Все они были в деревянных башмаках на босу ногу и куцых подростковых пальто. Илона пересчитала подруг и отрапортовала:

— Семьдесят семь венгерских евреек, одна больная на тележке!

— Lagerschreiber!

Эрих махнул пересыльной ведомостью, которую успел наскоро составить.

— Количество совпадает. Прикажете проверить поименно?

— Не надо! Шесть женщин — к тележке, живо! Остальные налево кругом, и шагом марш!

Девушки зашагали. Като искала глазами Диего. Увидев его у ворот, она улыбнулась и запела:

«Дует холодный ветер...»

Остальные девушки подхватили песню.

Сто пятьдесят новичков глядели на них, как на видение. Ворота закрылись, снаружи донеслись возгласы [447] конвоиров, оцепивших женскую колонну. Обогнув комендатуру, она двинулась в сторону Гиглинга.

— Хороший лагерь! — шептались новоприбывшие. — Вы слышали, они поют?

— Принять транспорт! — взревел Дейбель. Зденек побежал через апельплац.

— Иржи Роубичек здесь? — кричал он еще на бегу.

— Здесь! — ответило несколько голосов. Зденеку указали на группу узников, которых привезли на тележке. «Ирка, тебя ищут», — сказал один из них, наклонился и помог лежачему больному поднять голову. Зденек увидел его и с возгласом «Ирка!» кинулся к брату.

11.

В конторе было тихо, оба писаря склонились над пересыльной ведомостью из пятого лагеря. Сто пятьдесят фамилий, в большинстве польские и чешские.

Эрих хмурился и долго не решался задать вопрос, который не давал ему покоя. Наконец он сказал, сверкнув очками:

— А как же ты заранее узнал о прибытии брата? Признайся, ты это сам все подстроил?

Зденек растирал свою правую руку, которая изрядно отекала, — Дейбель ударил его кабелем за то, что он не сразу отошел от брата. Зденек осторожно сжимал и разжимал ладонь.

— Да, я знал об этом, Эрих.

— Почему же ты не сказал мне?

— А что, если бы через вас это стало известно Копицу?

— Эх, ты! — прохрипел писарь. Ему вдруг пришло в голову, что этот его разговор

со Зденеком похож на какой-то другой, участником которого он уже был. Ну да, с пьяным рапортфюрером! Тот тоже просил участия и злился на то, что писарь стоял тогда молча, как недруг...

— Вот она, человеческая неблагодарность! — глухо сказал Эрих. — Ты, видно, совсем забыл, что я вытащил тебя из мусульманского барака. Где бы ты сейчас был, кабы не я? Уж, конечно, не здесь! — он кивнул на картотеку живых. [448]

Зденек отошел со списком на свое место.

— Я знаю, что вы мне помогли. Никогда этого не забуду.

— И все же?..

Чех молчал. Он взял в руку карандаш, но писать ему было трудно.

— Что, болит рука? А это тебя ни в чем не убеждает? — продолжал писарь. — Видел ты когда-нибудь, чтобы Дейбель или Копии ударили меня? Кое-чего ты еще не знаешь, что знаю я... Почему же ты такой упрямый, неблагодарный ученик?

Зденек усмехнулся.

— Меня будут бить, ничего не поделаешь.

— А мозги у тебя не набекрень? — Эрих постучал пальцем по лбу. — Хочешь быть мучеником? Страдальцем вроде Иисуса Христа? Даже ваш святой Маркс не одобрил бы этого.

Зденек улыбнулся.

— Не беспокойтесь. Конечно, я хотел бы быть таким ловким, как вы, но не любой ценой.

Он взял карточку и аккуратно написал на ней по-немецки «Георг Рoubичек, рабочий из Праги».

— Не выкручивайся, -проворчал писарь. — Скажи мне напрямик, ты хочешь жить или нет?

— Конечно, хочу, — ответил Зденек, не поднимая головы. — Но это не самое главное. Главное — вот эта картотека. Надо добиться, чтобы она пережила зиму. А может быть, важно и еще кое-что...

— Что?

— Не знаю. Не лезть во всякую грязь. Вести себя так, чтобы не приходилось на прощанье просить кого-то:

«Слушай, ты подтвердишь потом, что я был хороший. Ведь к тебе я всегда был добр, а?»

\* \* \*

Часы бежали, работы было по горло. Лейтхольд, тихий и какой-то пришибленный, без палки, зашел в контору попросить людей, которые dokonчили бы в кухне работу, брошенную женщинами. Кого же туда послать, и поскорей? В лагере сейчас не так-то много здоровых мужчин...

Зденек вспомнил о Франте Капустке из четырнадцатого барака, бывшем кельнере, посоветовался с Оскаром. [449] «Как там его помятые пальцы? Можно уже выписать его из лазарета? Он ведь специалист...»

Так и было сделано. Рука Франты была еще в бумажной повязке, но глаза смеялись.

— Шеф-повар может сам и не работать, — сказал он. — Главное, приглядывать за всеми, командовать, красно говорить. Шеф-повар за словом в карман не лазит!

Санитар Шандор Фюреди стал у котлов, которые покинула его двоюродная сестра Беа. К нему присоединилось еще восемь человек.

Оскар поинтересовался дальнейшими планами Зденека.

— Зеленые уйдут, ты останешься старшим писарем. Если Копиц спросит тебя, кого ты рекомендуешь в старосты лагеря, что ты ответишь?

— Старостой должен быть Фредо, — не колеблясь сказал Зденек. — Он лучший из нас. То, что здесь будет лазарет и никому не придется ходить на работу, — это прежде всего его заслуга.

Оскар согласился.

— А кого бы ты взял младшим писарем?

— Об этом я тоже подумал, — кивнул Зденек. — Ты не знаешь Гонзу Шульца? Такой с виду незаметный парень, но молодчина. Фредо его очень хвалит, на стройке они действовали рука об руку. Гонза — коммунист. Его я хотел бы в помощники.

Старший врач беспокойно поглядел на Зденека.

— Не слишком ли легко ты смотришь на вещи? Зима, холода... Жить здесь будет не сладко, учти!

\* \* \*

Эрих отнес сводку умерших в комендатуру. Копиц поводил толстым пальцем по строчкам и задержался у фамилии самоубийцы.

— Гичман Ярославс, — медленно прочитал он, указал на слог «лаус»<sup>{30}</sup> и поднял хитрые глаза, — это и есть та липа, которую вы хотите протащить на погост?

Писарь прикинулся, что не понимает.

— Самое обычное чешское имя. Я знаю это по Вене. Ярослав или Яро. [450]

— Заткнись, — рапортфюрер махнул рукой и мелким почерком поставил слева внизу свою подпись. — Так уж и быть, спускаю тебе это. А новому писарю такие штучки спускать не буду, так ему и передай.

\* \* \*

Наконец-то у Зденека выдалась свободная минутка, и он смог зайти к брату, которого положили в одном из бывших женских барачков. Калитка была распахнута — теперь тут можно было ходить беспрепятственно, часовые на вышках уже не держали калитку под прицелом. И это почему-то показалось Зденеку очень важным, значительным и многообещающим.

Иржи лежал в третьем бараке, у самого окна, на лучшем месте, которое прежде девушки отвели для Иолан. Глаза у него были закрыты, больной отдыхал после утомительного пути. Он выглядел очень измученным. Лицо было желтым, морщинистым, заросшим белесой щетиной, восковые веки прикрывали

провалившиеся глаза, и Зденеку стало страшно: а что, если они уже никогда не откроются.

— Иржик! — прошептал он.

Соседний больной покачал головой и приложил палец к губам: не беспокой его! Но Иржи уже пошевелился, открыл глаза и слабо улыбнулся.

Впервые Зденек мог разглядеть брата и должен был напомнить себе, что Иржи всего на два года старше, ему тридцать четыре. А впрочем, кто знает, как выглядит сам Зденек, ведь он уже давно не глядел в зеркало. Но он видел лица окружающих его людей и лица мертвецов там, в покойницкой. Иржи не был похож ни на тех, ни на других, он казался старше, прозрачнее, словно ему было сто лет. Когда он сделал жест, приглашая брата сесть, рука его с минуту дрожала в воздухе и тотчас легла обратно на одеяло.

— Надеюсь, ты не расплачешься при виде меня? — прошептал Иржи и мягко посмотрел на брата карими глазами, так похожими на материнские. «Хоть глаза-то у него не изменились!» — подумал Зденек и сел.

— Как насчет кино? — спросил Иржи. — Ты все еще увлекаешься кинематографией?

— Не говори об этом. У меня уже давно другие заботы. Расскажи лучше... [451]

— А у меня нет никаких других забот, — весело подмигнул Иржи, словно ие желая допустить сентиментальный тон в их беседе. И его глаза под тяжелыми пергаментными веками ожили и улыбнулись. — Ты любил кино, что ж в этом плохого? Человек должен увлекаться чем-нибудь. Для начала.

— Говори о чем хочешь, — послушно сказал Зденек. — Я так рад видеть тебя!

— Кино — отличная вещь, — продолжал Иржи. — Само по себе оно, может быть, и пустяки. Но фильм для народа и на хорошую тему — это уже что-то. Сделав такой фильм, можно потом далеко пойти.

Зденек кивал головой. Ему было неприятно, что брат при первой же встрече снова сел на своего старого конька, но вместе с тем Зденека радовало, что Иржи не изменился, что у него по-прежнему есть охота спорить, словно они виделись только вчера.

— Ну ладно, товарищ идеолог, — поклонился Зденек. — Куда же, например, я могу пойти с помощью фильма?

Иржи улыбнулся.

— К нам. К правде.

— Я делаю что могу, не сомневайся.

Но Иржи уже развивал свою мысль и не хотел отступить от нее.

— Фильм, — повторил он, — отличная штука. Я, знаешь ли, часто говорил себе, что у тебя большое преимущество перед всеми нами: тебе, наверное, удастся воссоздать правдивые картины всего этого... — Его рука опять поднялась, дрогнула при попытке жестиковать и бессильно опустилась.

— Я тоже подумывал об этом, — сказал Зденек. — Но о фильме мы поговорим потом, когда ты выздоровеешь...

— Нет, пожалуйста, не надо откладывать. Скажи мне сейчас же, как ты представляешь себе фильм о концлагере. Полным озлобления, отчаяния, ненависти?

Зденек взглянул ему в глаза.

— А ну тебя! Я бы хотел знать, как ты себя чувствуешь, чего тебе не хватает...

— Об этом не беспокойся, — Иржи со стариковским упрямством покачал головой.

— Сейчас речь идет о тебе. Сделать фильм ты должен обязательно! [452]

— Есть дела поважнее.

Иржи нетерпеливо шевельнулся.

— Да, конечно. Но их сделают другие, А ты займешься фильмом, понял? Именно фильмом. Для тебя ведь существует только кино.

Зденек не выдержал.

— Перестань насмехаться надо мной. Я уже понял, что ошибался и что ты был прав, тысячу раз прав! Мне нужно было ехать с тобой в Испанию, клянусь, я осознал это. Во всем мне нужно было быть вместе с тобой — и в редакции работать, и уходить в подполье.

— Ну, а сейчас ты хнычешь попусту, — растерянно прошептал Иржи и положил свою слабую руку на плечо брата. — Честное слово, я не хочу отговаривать тебя от работы в кино. Мне не нравилось, как ты относился к ней раньше, — искусство для искусства... и для самого себя, карьера, ну, сам знаешь. А теперь — нет, теперь ты должен работать в кино, Зденечек!

Зденек не отвечал, он плакал, ему нужно было выплакаться. Иржи гладил его по плечу и настойчиво шептал:

— Я бы и сам занялся вместе с тобой этим делом, кабы мог. Кто знает, может быть, и я изменился? Но ты снимешь этот фильм и без меня. И смотри, избегай торопливости в творческой работе, это было бы ошибкой. Куй оружие мудро, не спеша, тщательно. Помнишь оружейника Гейниха с нашей улицы?.. Пусть в твоём фильме будет все, что ты накопил в памяти, все, что ты видел. Не хнычь, а показывай! О маме можешь помнить, но не говори о ней в фильме, пусть она незримо присутствует, только не надо надгробного плача и слезливости, Покажи, как мы сюда попали, как боролись...

Зденек поднял голову и старался слушать то, что говорит брат.

— Я знаю, ты бы хотел фильм о политических, о том, как тут работала партия... — сказал он.

— Нет, нет, не делай из этой картины наставления о том, как надо вести себя в концлагере. Внушай людям, что таких лагерей не должно быть. Что не должно быть новых гитлеров и всего того, что его породило. Понял? И что за это надо бороться.

Глаза Иржи вспыхнули.

— Не хочу вмешиваться в ваши дела, — сказал вдруг сосед Иржи, тот самый, что вначале сделал [453] Зденеку знак не будить брата. — Но вы совсем спятили. Неужели нужно все обговорить в первый же день? У вас хватит времени, вся зима

вперед.

— Не хватит, Курт, оставь! — Иржи снова повернулся к Зденеку. — Понял ты, в чем дело?

Тот кивнул.

Ему не хотелось спорить с братом, все же он тихо возразил:

— Так можно писать в «Творбе» [31](#). А в кино лозунги не годятся... Если я не сумею передать в художественных образах...

— Сумеешь! — Иржи попытался поднять голову, но у него не хватило сил. — Сумеешь! — повторил он уже слабее. — Покажешь лагерь. Но не только лишения, снег, вшей, голод, хотя и это все должно быть в фильме. В первую очередь нужно показать, что гитлеризм делает с людьми, с тобой, со мной, с эсэсовцами, с любым человеком, как он натравливает людей друг на друга, доводя человеческие отношения до полного распада. Но прежде всего ты покажешь, как человек все-таки сопротивляется, не поддается этому...

— Успокойся, Курт совершенно прав. Уж я как-нибудь сделаю все это. А сейчас отдохни, Иржик.

— Не могу, нет времени, — улыбнулся брат. — Я уже никогда не отдохну.

\* \* \*

На стройке Берл весь день сторонился своего капо: не мог забыть, как Карльхен утром вешал Янкеля. Вечером Берл сбежал к Жожо, ища заступничества. Тогда Карльхен в самом деле вынул из-под тюфяка топор.

Весь лагерь ждал, что будет дальше. Опять убийство? Неужели даже между собой мы не можем жить мирно?

— Убей, убей его, Карльхен! — саркастически советовал Эрих. — Ведь виселица еще стоит на апельплаце. Зачем тебе уходить завтра на фронт, если можно отправиться на тот свет прямо отсюда, из Гиглинга?

Фредо и Гастон тем временем взялись за Жожо. Неужто в самом деле у него совсем нет стыда и он не [454] может прогнать от себя эту потаскушку Берла? Неужто ему не дорога жизнь?

Новички в бывших женских бараках оставались в стороне от всех этих треволнений. От остального лагеря их отделял забор — хотя калитка теперь не была заперта, — и новенькие еще не успели завязать знакомство со старожилками, которые вернулись с работы усталые и были заняты своими делами. Поэтому в бараках новичков царили сегодня тишина и спокойствие. Все верили, что после тяжелых условий пятого лагеря здесь им будет житья лучше, и, видимо, не ошибались. Они знали, что назначение лагеря меняется, что уже завтра отсюда уедут все трудоспособные, после чего ворота лагеря надолго закроются, и он погрузится в подобие зимней спячки. В лагере неплохое руководство, а с завтрашнего дня оно будет еще лучше. «Зеленые» уедут, капо с плетками уберутся отсюда, распоряжаться начнут врачи во главе с Оскаром. Новички уже знали Оскара, сегодня он впервые сделал у них обход. Они увидели его энергичный подбородок, орлиный нос и грустные глаза, слышали его быстрые, толковые распоряжения и прониклись к нему прямо-таки детским доверием. А старшим

писарем будет Зденек. Если он хоть наполовину такой, как его брат, с нами здесь не случится ничего дурного...

Первая похлебка, которую выдавали днем, была сказочно густа, шеф-повар Франта положил в нее все, что нашел в кухне. Если даже питание не всегда будет на таком уровне, оно куда лучше, чем в пятом лагере. Люди верили в это, потому что хотели верить.

Сейчас все они были довольны, лежали на нарах, глядели в потолок и радовались тому, что последняя военная зима пройдет для них без переключек, без апельплаца.

— Ну и похлебка же была, ребята! — прошептал один из новичков уже в десятый раз.

— Ты закоренелый чревоугодник, Макс, — тихо засмеялся Иржи. — На мир ты глядишь сквозь дырку швейцарского сыра. Но нельзя же всегда оставаться таким.

— Я чревоугодник? — защищался Макс. — Вот уж чет. У меня даже, пожалуй, нет любимого лакомства. Разве что горбушки от домашнего каравая... я бы мог съесть их целое кило. И представьте себе, у меня никогда не хватало духу — даже, например, в день своего [455] рождения — купить каравай, съесть только горбушки, а остальное выбросить. Глупо, а?

— Нет, не глупо, — ответил Иржи. — Хлеб нужно есть целиком. Всю жизнь нужно брать целиком.

— Всю? — усомнился его сосед Курт. — Ну, а я устрою теперь себе жизнь по своему вкусу...

— Из одних горбушек?

— Нет, я всерьез, Ирка. Слишком многое мы тащили за собой в жизни, веря, что без этого нельзя. А в результате только лишние огорчения. Взять хотя бы мою библиотеку. Дважды я ее собирал, отличную, превосходную библиотеку. Один раз в Берлине, другой — в Праге. Сколько сил положил на это, сколько собрал иллюстраций, грампластинок, карт, каталогов. И дважды лишился всего. Третьей библиотеки мне уже не надо. Не надо мне ни квартиры, ни домашнего очага, ничего, что когда-то создавалось с такой любовью. Не хочу вспоминать об этом. Буду жить в гостиничном номере.

— Ты — молодчина, борец, — проворчал Иржи. — Но ведь, сам знаешь, в гостиницах обычно центральное отопление. Где же ты будешь жечь бумаги при угрозе обыска?

— А разве опять будут обыски? — засмеялся Курт.

— Не знаю. Лучше бы их не было. Но, может быть, все пойдет далеко не так гладко. Мы верим, что Советы разгромят гитлеровцев и освободят нас. Но ты думаешь, все остальное придет само собой? Думаешь, нам не придется драться и все блага упадут нам с неба в готовом виде?

— А ну тебя с политикой! — прошептал Макс. — Вспомни-ка лучше о похлебке. Ох, и хороша была!

\* \* \*

Карльхен торжественно пообещал не убивать француза. Он спрятал топор под тюфяк и уселся за шнапс, который Коби «организовал» сегодня на стройке.

Переполох в лагере утих, и несколько надежных ребят собралось у Вольфи обсудить положение. Зденек начал с того, что поставил вопрос о новом старосте лагеря и выдвинул кандидатуру Фредо. Оскар поддержал его. Но Фредо замахал руками. «Нет, нет, на меня не рассчитывайте. Я тут зимовать не останусь, я взялся за дело у Молля...»

Тщетно они уговаривали грека. «Нет, — говорил он, — [456] превращения лагеря в лазарет я добивался не для себя. Конечно, может быть, и меня привезут сюда на тележке, но лучше бы этого не случилось».

Зденек не знал, как быть.

— Кого же все-таки? Не оставите же вы меня одного в конторе.

— Не беспокойся, — сказал Фредо. — Во-первых, мы еще не знаем, как все сложится завтра. Вероятно, так: работающих переведут отсюда в другой лагерь, здесь устроят лазарет на три тысячи больных, а для самых необходимых работ оставят сотни две здоровых людей — врачей, поваров, могильщиков, орднунгдинстов и прочих. Завтра на утренней переключке нас, наверное, разделят. Добровольцев для перевода в другие лагеря, я думаю, найдется очень мало. Вот, например, ты, Вольфи, хочешь остаться здесь?

— Пожалуй, да. Говорят, правда, что от больных хефтлинков надо держаться подальше, но я не думаю, что сейчас их станут отправлять в газовые камеры.

— Ладно, — кивнул Фредо, — Вольфи вполне подходящий человек. Он немец, хоть и политический, комендатура, наверное, его утвердит. Что скажете, если Зденек предложит Вольфи на пост старосты?

Все согласились.

— Вот видишь, Зденек, ты уже не один. Вольфи тебе поможет, Оскар и Диего тоже. А среди новичков есть несколько коммунистов. Правда, ребята на стройке говорили, что рассчитывать на Иржи уже не приходится... — Фредо запнулся, увидев испуг в глазах Зденека, — ну да, твоему брату нужен покой и покой! — поспешил поправиться он. — Говорят, там еще есть какой-то Курт...

Зденек подтвердил, что есть.

— Из других лагерей тоже придут надежные ребята. Они явятся к тебе с паролем «Как поживает твой брат?», понятно? Так мы условились на стройке. Ваша задача здесь ясна: выдержать эту зиму, честно выдавать порции, помогать людям. Не, исключено, что комендатура урежет вам пайки и снимет прибавку для работающих. Но если даже будут давать одну буханочку не на четверых, а на пять или шесть человек, выдержать можно. Нужно выдержать!

Остаток ночи Зденек просидел у постели брата. Они уже не говорили о кино и большей частью молчали, а [457] иногда тихонько обменивались несколькими словами, стараясь не беспокоить спящих.

В темноте не было видно, как изменилось лицо Иржи, и Зденеку иногда казалось, что они снова дома. Оба бодрствовали, как когда-то в юные годы, и какая-нибудь одна фраза будила у них тысячи воспоминаний. Помнишь, как огорчился отец, когда бенешевцы не выбрали его в муниципалитет? А мы с тобой смеялись. А помнишь мамин красивый почерк? А ее альбомы, которые она прятала в комод под бельем? Иржи как-то стащил один из них и нашел в нем множество наивных

любовных стихов времен папиного сватовства. Одно он выучил наизусть. Помнишь, как заплакала мать, когда ты вечером вдруг встал и начал декламировать этот стишок? Вечно наши родители плакали из-за нас, вечно они о нас заботились, наставляли... А мы? Правильно мы жили?.. Сейчас ночь, тихо, плакать не хочется. Иржи! Зденек! Мы здесь наедине, папа нам ничего не скажет, мама тоже. Что же мы скажем сами о себе?

— Тебе-то хорошо, — шепчет младший брат. — Я тебе завидую. В жизни ты шел прямым путем, тебе стыдиться нечего.

— Ничего ты не знаешь, — старший погладил брата по руке. — Я вечно дрался, это верно. Но доволен жизнью я бывал редко. Знаешь ты, что я всегда тебе завидовал. Тебя мать любила больше.

— Нет, нет, это неверно, Иржик. Тебя она любила во стократ сильнее, честное слово! Но ты был своенравный, все делал ей наперекор.

Они опять замолчали. Кругом хрипло дышали спящие. В памяти братьев проходило всё пережитое.

— Жаль, что нам так мало довелось быть вместе, — сказал один. — Легче было бы понять друг друга...

— Неверно, — возразил другой. — Мы никогда не были одиноки. Мысленно я всегда вел и вас с собой — отца, маму, тебя. Куда бы я ни шел, я всегда был с вами.

— В самом деле? А я нет, — признался младший. — Эгоист, всегда думал только о себе... Но я был уверен, что ты думаешь о нас еще меньше.

Иржи усмехнулся.

— Ошибся.

Брат положил свою руку на его.

— Больше этого не будет. Мы все-таки теперь вместе. [458]

— В Гиглинге! — отозвался Иржи, подражая звуку святочного колокольчика. — А помнишь рождество дома? Оно ведь уже на носу.

\* \* \*

Утром выяснилось, что за ночь навалило много снега. Он еще падал большими мокрыми хлопьями. В четыре часа к воротам лагеря подъехал большой армейский грузовик. Шофер даже не выключил мотора и не погасил фар.

— Зеленые, в машину! — закричал орднунгдинст. — Зеленые, в машину!

Эрих и Хорст собрали свои пожитки. Каждый обул лучшую пару ботинок, оставив лишнюю обувь в конторе — для будущих проминентов. Хорст снял со стены семейную фотографию с ленточкой Железного креста.

— Как ты думаешь, Эрих, можно мне уже вдеть эту ленточку в петлицу?

— А ну тебя! — проворчал писарь. — Сунул бы ты ее в другое место...

Он был не в духе. Ему не хотелось покидать теплое, обжитое местечко, где он рассчитывал дотянуть до конца войны. Как говорят у нас в Вене: «Новое лучше не будет», — мысленно твердил он.

Одиннадцать «зеленых»... Зепп первым перескочил через борт машины. Там сидел

конвойный с автоматом. Он улыбнулся и протянул Зеппу руку.

— Привет, камарад! Ты слышал, что мы начали большое наступление в Бельгии? Мы еще выиграем эту войну! В Дахау вас встречают с музыкой!

— С музыкой? — Зепп просиял. — Слушай-ка, посоветуй мне, как бы попасть в горнолыжную часть? Я был тренером в Арльберге. Лыжниц у меня там было, ого-го!..

В машину влезли остальные.

— Одиннадцать?

— Одиннадцать! Поехали!

Копиц и Дейбель уже не стали возвращаться в комендатуру. Сегодня перекличка продлится долго, давайте-ка начнем ее сразу. Сигнал!

Ударили в рельс. Заключенные еще не завтракали, кофе был не готов, но это неважно. «Всем выстроиться на поверку!»

Зажглись прожекторы. Страшная виселица еще торчала посреди апельплаца. [459]

— Lagerschreiber, vorwärts!

С бьющимся сердцем Зденек впервые побежал к воротам. На руке у него была повязка Эриха. Часовые пропустили его.

Копиц смерил нового писаря взглядом.

— Скажешь Диего, чтобы сразу после переклички убрал виселицу.

«Слава богу, первый приказ хороший!» — подумал Зденек.

Хитрые глазки Копица прищурились, он без труда угадал мысль писаря.

— Но я не сказал, чтобы ее разрубили в щепы, — усмехнулся он. — В любой момент ее можно поставить снова.

— Jawohl!

— Кого мы сделаем старостой? Ты, небось, хочешь Оскара. Он ведь твой дружок, а?

— Да. Я его очень уважаю. Превосходный врач и честный человек...

— Заткнись! Старостой ему не бывать. Хватит мне одного жида в конторе. Предлагай кого-нибудь другого.

Зденек хотел назвать Фредо, но не сделал этого, вспомнив о ночном разговоре у Вольфи.

— В лагере остались три немца, — сказал он. — Вольфи, Клаус и..

— Вот так-так! Как же я о них не вспомнил? Вольфи — это такой рыжий? Большевик?

— Не знаю. Но у него красный треугольник.

— А у тебя какой?

— Тоже красный.

Копиц усмехнулся и сказал медленно:

— Мне важно, чтобы в новом руководстве были толковые люди. Менять их я уже не собираюсь. На всю зиму.

\* \* \*

На апельплаце Дейбель делал зарядку.

— Ну, — сказал он, когда рабочие команды построились в шеренги. — Кто из вас пойдет добровольно? Кто хочет перейти с папашей Дейбелем в новый лагерь?

Первым шагнул вперед Фредо и вытянулся перед эсэсовцем:

— Фредос Саккас, грек, арбейтдинст.

Дейбель благосклонно кивнул. [460]

— Одобряю. Что, понравилось тебе у Молля?

— Понравилось, — сказал Фредо и весело сверкнул глазами.

Следующим вышел Гонза и стал рядом с Фредо.

— Ян {32} Шульц, чех...

— К черту, к черту! Будете мне тут представляться, как на балу? Кто еще? Становитесь сюда, писарь всех запишет.

Но добровольцев оказалось мало. Дейбель вытянул из-за голенища кабель и стал выразительно похлопывать им по руке, обтянутой перчаткой.

— Ну, что же вы? Или, может быть, воображаете, что все останетесь тут, в лазарете, шваль вы этакая? Записывайтесь, пока я не начал вытаскивать вас поодиночке за уши!

В ворота вошел Копии с трубкой в зубах и приказал сопровождавшему его Зденеку:

— Сходи за картотекой. Тут же, на месте, будешь вынимать карточки тех, кто уходит, и составишь на них пересыльную ведомость. Пусть кто-нибудь поможет тебе принести сюда скамейку, будешь работагь здесь. Живо!

Кучка добровольцев около Фредо все еще была очень маленькой. Дейбель стал обходить ряды и сам выбирал людей покрепче.

Зденек и Бронек принесли скамейку, Зденек сел на нее верхом, поставил перед собой картотеку живых и вытащил несколько карточек; поляк положил на них камень, чтобы ветер не унес листки.

— Свет сюда! — крикнул Копиц часовому на вышке, и луч прожектора упал на скамейку. Зденек чувствовал себя, как на сцене, настроение у него было приподнятое, он был взволнован разлукой с Фредо, который сейчас подошел к нему. Они видятся в последний раз!

Зденек вынул карточку Фредо и положил ее под камень. Они обменялись рукопожатием.

— Работай как следует.

— Желаю успеха. Salud!

Потом подошел Гонза. Зденек отрицательно качнул головой.

— Ты не уйдешь, что это ты выдумал? Копиц уже согласился сделать тебя

младшим писарем. Катись! [461]

— Вынимай карточку! — усмехнулся Гонза. — В конторе пусть пристроится кто-нибудь другой, мне нужно быть у Молля.

— Из лагеря труднее удрать, — хитро подмигнул Фредо, наклонившись к самому уху Зденека. — Гонза думает, что со стройки ближе до Праги.

Гонза тоже наклонился к Зденеку.

— Счастливо оставаться, Зденек. Если когда-нибудь услышишь со стороны стройки выстрел и это будет не во время налета, вспомни обо мне.

— Живо, живо! — закричал Копиц, подходя проверить, почему не двигается очередь. — Не торчать же тут до вечера!

Зденек вынимал одну карточку за другой. Пальцы у него озябли, и он с трудом извлекал нужную карточку, стараясь не вытащить заодно и соседнюю, которая должна остаться в ящике.

Среди узников на апельплаце слышались жалобы. Дейбелю не хватило здоровых, он уже брал людей совсем больных, в разбитой, подвязанной бечевками обуви. Копиц дал ему похозяйничать еще минут пять, потом сказал: «Is gud, Руди!»

Вот и эсэсовцы в последний раз стали рядом — коротышка Копиц и долговязый Дейбель. Было видно, что и они думают о расставании. Кто-то заметил, что нет Лейтхольда. Где же он?

Зденек заканчивал регистрацию, очередь перед ним все убывала. Тем временем Копиц отвел Дейбеля в сторону.

— Веди себя теперь потише, — прошептал рапортфюрер. — Ты переходишь в новый лагерь, где тебя еще не знают... Будь осторожен. Бог весть как обернутся события...

— Ну, что ты, Алоиз! — усмехнулся Руди. — Разве ты не слышал, что сказал конвойный из Дахау? Мы наступаем!

— Слышал, — сказал Копиц. — Эрих, Карльхен и Зепп будут наступать, я знаю. Береги себя.

— А что со мною может случиться? Уж мы-то знаем лагерь, как свои пять пальцев. В самом худшем случае можно в переполохе нацепить на себя арестантскую одежду и прикинуться одним из них, а?

Рапортфюрер кивнул.

— Может быть, это и удастся. Но если ты наживешь [462] себе среди них много врагов, такой трюк окажется труднее. Ну, в добрый путь!

Отъезжающих подсчитали раз, другой. Чтобы округлить число, эсэсовцы сцапали наобум еще несколько человек, вызвав тем крики и жалобы — оказались разлучены старые друзья.

Зденек тоже подсчитал свои карточки, количество сходилось. Теперь можно отнести картотеку в контору и составить там пересыльную ведомость, к которой будут приложены вынутые карточки.

Мотика не вызывался добровольцем, втайне надеясь, что, оставшись в лагере, он

займет свое прежнее место в кухне. Но Дейбелю он был нужен для торговых комбинаций, и эсэсовец одним из первых вытащил его из рядов. Чтобы бывший повар не слишком огорчился, Дейбель назначил его старшим над уходившими в другой лагерь, в том числе и над Фредо. Оба грека с минуту глядели в глаза друг другу. Мотика попытался улыбнуться, но в лице Фредо не шевельнулся ни один мускул, оно оставалось серьезным и даже суровым. Мотика опустил глаза и скомандовал: «Марш!»

Ворота открылись. Зденек подбежал с пересыльной ведомостью в двух экземплярах. Один экземпляр подписал Дейбель, другой — Копиц. Они обменялись копиями, и каждый аккуратно положил свой экземпляр в карман. Потом эсэсовцы пожали друг другу руки. «Чемодан я тебе пошлю сегодня», — заверил рапортфюрер.

Раздалась команда «Marschieren, marsch!»

Колонна вышла из лагеря. Зденек стоял и смотрел ей вслед. Все еще падал снег, было половина шестого утра. Прожекторы погасли, сперва тот, что освещал скамейку, потом остальные. Ворота медленно закрылись, лагерь мог еще поспать.

Где-то там, в темноте, шла черная колонна.

\* \* \*

Те, кого назначили на работу, ушли к Моллю. Фредо, Гонза.

А что же мы?

Зденек сел за стол, пора было браться за дела. Прежде всего надо, как обычно, составить сводку умерших. Он взял чистый лист бумаги и положил перед собой рапортчики, накопившиеся со вчерашнего дня. [463]

Во дворе уже рассветало. Слышался стук молотка: это Диего и его ребята разбирали виселицу. Приятная работа! Испанцы смеялись и даже пели. Они пели песенку о том, как в одно прекрасное рождество будут вешать своих вероломных генералов.

Los cuatro generalos, que se han alzado,  
que se han alzado,  
Para la noche buena, mamita mia,  
serán ahorcados, serán ahorcados!

Мы с четырех мятежников  
Сорвем-ка эполеты,  
Мы четырех мятежников  
Повесим на рассвете

Зденек тоже засмеялся. Потом стало тихо, и он продолжал работу.

Но вот открылась дверь, вошли врачи, все трое: Оскар, маленький Рач и его друг Антонеску. Зденеку сперва показалось, что эти чудаки пришли поздравить его с должностью старшего писаря. Но потом он увидел, что глаза Оскара грустнее обычного.

Зденек вскочил.

— Что случилось?

Никто не говорил ни слова, только маленький Рач коснулся его руки. «Пришел подбодрить меня, — мелькнуло у Зденека. — Боже, что же случилось? Ирка?..»

Врачи только что посетили Иржи, но помочь ему было уже нельзя, и они все трое пришли объяснить...

Эх, какие там объяснения! Глаза Зденека были сухи.

— Иди сядь, — сказал Оскар. — Мы хотим, чтобы ты не чувствовал себя одиноким.

Зденек поблагодарил. Нет, ему не нужно сострадания. Он попросил их уйти: ему не хочется разговаривать, не хочется слышать ничьих слов. Товарищи послушались и ушли.

Зденек потянулся к картотеке живых. Он так точно знал, где стоит его собственная карточка, что тотчас же вытащил ее на ощупь. Нечего ей там делать, вон из ящика! Там должна была остаться карточка Иржи, а не его!

Казалось, Зденек делал что-то давно продуманное: он поступит так же, как при спасении портного Ярды, подменит учетные карточки. Иржи должен остаться в картотеке живых, даже если Зденеку придется вынуть [464] собственную карточку и написать о себе: «Выбыл, причина — смерть». Стоит ли жалеть Зденека Роубика? Нет. А вот позаботиться о том, чтобы место Иржи не опустело, хотя бы частично заменить брата, под его именем продолжать дело его жизни...

Но вдруг у Зденека опустились руки. Что за сентиментальную инсценировку он придумал? Иржи первым посмеялся бы над ней. Хочешь отделаться перетасовкой бумажек? Переложить карточки и думать, что ты чего-то достиг? Нет, нужно принять другое решение, настоящее, достойное Иржи.

Зденек поставил свою карточку на место, вынул карточку брата и положил ее на стол. На чистом листе бумаги он начал писать фамилии умерших, как всегда, крупными печатными буквами. У ворот вдруг послышался возглас орднунгдинста:

— Transport! Lagerschreiber, vorwärts!

Зденек бросил все и побежал к воротам. Да, в самом деле, кошмар продолжается, новая партия больных тянется в ворота.

— Откуда вы?

— Из четвертого лагеря. Скажите, тут хорошо?

— Хорошо.

— Писарь! — Один из заключенных выбрался из рядов и подошел к Зденеку. — Тебя зовут Зденек, да?

— Откуда ты меня знаешь?

— А я и не знаю. Меня зовут Юзеф, я поляк. Как поживает твой брат?

— Мой брат сегодня утром... — начал писарь и вдруг, заметив веселый взор новичка, Зденек понял, что это не обычный вопрос, а условный пароль.

— Брат чувствует себя хорошо, — быстро ответил Зденек и пожал новичку руку.

— Здравствуй, товарищ!

